

Викентий Вересаев

# На японской войне



Викентий Вересаев  
**На японской войне**

«Public Domain»

1907

## **Вересаев В. В.**

На японской войне / В. В. Вересаев — «Public Domain», 1907

«Япония прервала дипломатические сношения с Россией. В порт-артурском рейде, темною ночью, среди мирно спавших боевых судов загремели взрывы японских мин. В далеком Чемульпо, после титанической борьбы с целю эскадрою, погибли одинокие «Варяг» и «Кореец»... Война началась. Из-за чего эта война? Никто не знал. Полгода тянулись чуждые всем переговоры об очищении русскими Маньчжурии, тучи скоплялись все гуще, пахло грозюю. Наши правители с дразнящею медлительностью колебали на весах чаши войны и мира. И вот Япония решительно бросила свой жребий на чашу войны...»

## Содержание

I. Дома	5
II. В пути	14
III. В Мукдене	33
IV. Бой на Шахе	44
Конец ознакомительного фрагмента.	46

# Викентий Вересаев

## На японской войне

### I. Дома

Япония прервала дипломатические сношения с Россией. В порт-артурском рейде, темною ночью, среди мирно спавших боевых судов загремели взрывы японских мин. В далеком Чемульпо, после титанической борьбы с целой эскадрой, погибли одинокие «Варяг» и «Кореец»... Война началась.

Из-за чего эта война? Никто не знал. Полгода тянулись чуждые всем переговоры об очищении русскими Маньчжурии, тучи скоплялись все гуще, пахло грозой. Наши правители с дразнящею медлительностью колебали на весах чаши войны и мира. И вот Япония решительно бросила свой жребий на чашу войны.

Русские патриотические газеты закипели воинственным жаром. Они кричали об адском вероломстве и азиатском коварстве японцев, напавших на нас без объявления войны. Во всех крупных городах происходили манифестации. Толпы народа расхаживали по улицам с царскими портретами, кричали «ура», пели «Боже, царя храни!». В театрах, как сообщали газеты, публика настойчиво и единодушно требовала исполнения национального гимна. Уходившие на восток войска поражали газетных писателей своим бодрым видом и рвались в бой. Было похоже, будто вся Россия сверху донизу охвачена одним могучим порывом одушевления и негодования.

Война была вызвана, конечно, не Японией, война всем была непонятна своею ненужностью, – что до того? Если у каждой клеточки живого тела есть свое отдельное, маленькое сознание, то клеточки не станут спрашивать, для чего тело вдруг вскочило, напрягается, борется; кровяные тельца будут бегать по сосудам, мускульные волокна будут сокращаться, каждая клеточка будет делать, что ей предназначено; а для чего борьба, куда наносятся удары, – это дело верховного мозга. Такое впечатление производила и Россия: война была ей ненужна, непонятна, но весь ее огромный организм трепетал от охватившего его могучего подъема.

Так казалось издали. Но вблизи это выглядело иначе. Кругом, в интеллигенции, было враждебное раздражение отнюдь не против японцев. Вопрос об исходе войны не волновал, вражды к японцам не было и следа, наши успехи не угнетали; напротив, рядом с болью за безумно-ненужные жертвы было почти злорадство. Многие прямо заявляли, что для России полезнее всего было бы поражение. При взгляде со стороны, при взгляде непонимающими глазами, происходило что-то невероятное: страна борется, а внутри страны ее умственный цвет следит за борьбой с враждебно-вызывающим вниманием. Иностранцев это поражало, «патриотов» возмущало до дна души, они говорили о «гнилой, беспочвенной, космополитической русской интеллигенции». Но у большинства это вовсе не было истинным, широким космополитизмом, способным сказать и родной стране: «ты не права, а прав твой враг»; это не было также органическим отвращением к кровавому способу решения международных споров. Что тут, действительно, могло поражать, что теперь с особенною яркостью бросалось в глаза, – это та невиданно-глубокая, всеобщая вражда, которая была к начавшим войну правителям страны: они вели на борьбу с врагом, а сами были для всех самыми чуждыми, самыми ненавистными врагами.

Также и широкие массы переживали не совсем то, что им приписывали патриотические газеты. Некоторый подъем в самом начале был, – бессознательный подъем нерассуждающей клеточки, охваченной жаром загоревшегося борьбою организма. Но подъем был поверхност-

ный и слабый, а от назойливо шумевших на сцене фигур ясно тянулись за кулисы толстые нити, и видны были направляющие руки.

В то время я жил в Москве. На масленице мне пришлось быть в Большом театре на «Риголетто». Перед увертюрой сверху и снизу раздалась отдельные голоса, требовавшие гимна. Занавес взвился, хор на сцене спел гимн, раздалось «bis» – спели во второй раз и в третий. Приступили к опере. Перед последним актом, когда все уже сидели на местах, вдруг с разных концов опять раздалась одиночные голоса: «Гимн! Гимн!». Моментально взвился занавес. На сцене стоял полукругом хор в оперных костюмах, и снова казенные три раза он пропел гимн. Но странно было вот что: в последнем действии «Риголетто» хор, как известно, не участвует; почему же хористы не переоделись и не разошлись по домам? Как они могли предчувствовать рост патриотического одушевления публики, почему заблаговременно выстроились на сцене, где им в то время совсем не полагалось быть? Назавтра газеты писали: «В обществе замечается все больший подъем патриотических чувств; вчера во всех театрах публика дружно требовала исполнения гимна не только в начале спектакля, но и перед последним актом».

В манифестировавших на улицах толпах тоже наблюдалось что-то подозрительное. Толпы были немногочисленны, наполовину состояли из уличных ребят; в руководителях манифестаций узнавали переодетых околоточных и городских. Настроение толпы было задирающее и грозно приглядывающееся; от прохожих требовали, чтоб они снимали шапки; кто этого не делал, того избивали. Когда толпа увеличивалась, происходили непредвиденные осложнения. В ресторане «Эрмитаж» толпа чуть не произвела полного разгрома; на Страстной площади конные городские нагайками разогнали манифестантов, слишком пылко проявивших свои патриотические восторги.

Генерал-губернатор выпустил воззвание. Благодаря жителей за выраженные ими чувства, он предлагал прекратить манифестации и мирно приступить к своим занятиям. Одновременно подобные же воззвания были выпущены начальниками других городов, – и повсюду манифестации мгновенно прекратились. Было трогательно то примерное послушание, с каким население соразмеряло высоту своего душевного подъема с мановениями горячо любимого начальства... Скоро, скоро улицы российских городов должны были покрыться другими толпами, спаянными действительным общим подъемом, – и против *этого* подъема оказались бессильными не только отеческие мановения начальств, но даже его нагайки, пашки и пули.

В витринах магазинов ярко пестрели лубочные картины удивительно хамского содержания. На одной огромный казак с свирепой ухмыляющейся рожей сек нагайкою маленького, испуганно вопящего японца; на другой картинке живописалось, «как русский матрос разбил японцу нос», – по плачущему лицу японца текла кровь, зубы дождем сыпались в синие волны. Маленькие «макаки» извивались под сапожищами лохматого чудовища с кровожадной рожей, и это чудовище олицетворяло Россию. Тем временем патриотические газеты и журналы писали о глубоконародном и глубоко-христианском характере войны, о начинающейся великой борьбе Георгия Победоносца с драконом...

А успехи японцев шли за успехами. Один за другим выбывали из строя наши броненосцы, в Корее японцы продвигались все дальше. Уехали на Дальний Восток Макаров и Куропаткин, увозя с собою горы поднесенных икон. Куропаткин сказал свое знаменитое: «терпение, терпение и терпение»... В конце марта погиб с «Петропавловском» слепо-храбрый Макаров, ловко пойманный на удочку адмиралом Того. Японцы перешли через реку Ялу. Как гром, прокатилось известие об их высадке в Бицзыво. Порт-Артур был отрезан.

Оказывалось, на нас шли не смешные толпы презренных «макаков», – на нас наступали стройные ряды грозных воинов, безумно храбрых, охваченных великим душевным подъемом. Их выдержка и организованность внушали изумление. В промежутках между извещениями о крупных успехах японцев телеграммы сообщали о лихих разведках сотника Х. или поручика

У., молодецки переколовших японскую заставу в десять человек. Но впечатление не уравновешивалось. Доверие падало.

Идет по улице мальчуган-газетчик, у ворот сидят мастеровые.

– Последние телеграммы с театра войны! Наши побили японца!

– Ладно, проходи! Нашли где в канаве пьяного японца и побили! Знаем!

Бои становились чаще, кровопролитнее; кровавый туман окутывал далекую Маньчжурию. Взрывы, огненные дожди из снарядов, волчьи ямы и проволочные заграждения, трупы, трупы, трупы, – за тысячи верст через газетные листы как будто доносился запах растерзанного и обожженного человеческого мяса, призрак какой-то огромной, еще невиданной в мире бойни.

\* \* \*

В апреле я уехал из Москвы в Тулу, оттуда в деревню. Везде жадно хватались за газеты, жадно читали и расспрашивали. Мужики печально говорили:

– Теперь еще больше пойдут податей брать!

В конце апреля по нашей губернии была объявлена мобилизация. О ней глухо говорили, ее ждали уже недели три, но все хранилось в глубочайшем секрете. И вдруг, как ураган, она ударила по губернии, в деревнях людей брали прямо с поля, от сохи. В городе полиция глухою ночью звонила в квартиры, вручала призываемым билеты и приказывала *немедленно* явиться в участок. У одного знакомого инженера взяли одновременно всю его прислугу: лакея, кучера и повара. Сам он в это время был в отлучке, – полиция взломала его стол, достала паспорта призванных и всех их увела.

Было что-то равнодушно-свирепое в этой непонятной торопливости. Людей выхватывали из дела на полном его ходу, не давали времени ни устроить его, ни ликвидировать. Людей брали, а за ними оставались бессмысленно разоренные хозяйства и разрушенные благополучия.

Наутро мне пришлось быть в воинском присутствии, – нужно было дать свой деревенский адрес на случай призыва меня из запаса. На большом дворе присутствия, у заборов, стояли телеги с лошадьми, на телегах и на земле сидели бабы, ребята, старики. Вокруг крыльца присутствия теснилась большая толпа мужиков. Солдат стоял перед дверью крыльца и гнал мужиков прочь. Он сердито кричал:

– Сказано вам, в понедельник приходи!.. Ступай, расходись!

– Да как же это так в понедельник?.. Забрали нас, гнали, гнали: «Скорей! Чтob сейчас же явиться!»

– Ну, вот, в понедельник и являйся!

– В понедельник! – Мужики отходили, разводя руками. – Подняли ночью, забрали без разговоров. Ничего справить не успели, гнали сюда за тридцать верст, а тут – «приходи в понедельник». А нынче суббота.

– Нам к понедельнику и самим было бы способнее... А теперь где ж нам тут до понедельника ждать?

По всему городу стояли плач и стоны. Здесь и там вспыхивали короткие, быстрые драмы. У одного призванного заводского рабочего была жена с пороком сердца и пятеро ребят; когда пришла повестка о призыве, с женою от волнения и горя сделался паралич сердца, и она тут же умерла; муж поглядел на труп, на ребят, пошел в сарай и повесился. Другой призванный, вдовец с тремя детьми, плакал и кричал в присутствии:

– А с ребятами что мне делать? Научите, покажите!.. Ведь они тут без меня с голоду передохнут!

Он был как сумасшедший, вопил и тряс в воздухе кулаком. Потом вдруг замолк, ушел домой, зарубил топором своих детей и воротился.

– Ну, теперь берите! Свои дела я справил.

Его арестовали.

Телеграммы с театра войны снова и снова приносили известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках хорунжего Иванова или корнета Петрова. Газеты писали, что победы японцев на море неудивительны, – японцы природные моряки; но теперь, когда война перешла на сушу, дело пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев нет больше ни денег, ни людей, что под ружье призваны шестнадцатилетние мальчишки и старики. Куропаткин спокойно и грозно заявил, что мир будет заключен только в Токио.

\* \* \*

В начале июня я получил в деревне телеграмму с требованием немедленно явиться в воинское присутствие.

Там мне объявили, что я призван на действительную службу и должен явиться в Тамбов, в штаб 72 пехотной дивизии. По закону полагалось два дня на устройство домашних дел и три дня на обмундирование. Началась спешка, – шилась форма, закупались вещи. Что именно шить из формы, что покупать, сколько вещей можно с собою взять, – никто не знал. Сшить полное обмундирование в пять дней было трудно; пришлось торопить портных, платить втридорога за работу днем и ночью. Все-таки форма на день запоздала, и я поспешно, с первым же поездом, выехал в Тамбов.

Приехал я туда ночью. Все гостиницы были битком набиты призванными офицерами и врачами, я долго ездил по городу, пока в грязных меблированных комнатах на окраине города нашел свободный номер, дорогой и скверный.

Утром я пошел в штаб дивизии. Необычно было чувствовать себя в военной форме, необычно было, что встречные солдаты и городовые делают тебе под козырек. Ноги путались в болтавшейся на боку шашке.

Длинные, низкие комнаты штаба были уставлены столами, везде сидели и писали офицеры, врачи, солдаты-писаря. Меня направили к помощнику дивизионного врача.

– Как ваша фамилия?

Я сказал.

– Вы у нас в мобилизационном плане не значитесь, – удивленно возразил он.

– Я уж не знаю. Я вызван сюда, в Тамбов, с предписанием явиться в штаб 72 пехотной дивизии. Вот бумага.

Помощник дивизионного врача посмотрел мою бумагу, пожал плечами. Пошел куда-то, поговорил с каким-то другим врачом, оба долго копались в списках.

– Нет, нигде решительно вы у нас не значитесь! – объявил он мне.

– Значит, я могу ехать обратно? – с улыбкой спросил я.

– Подождите тут немного, я еще посмотрю.

Я стал ждать. Были здесь и другие врачи, призванные из запаса, – одни еще в статском платье, другие, как я, в новеньких сюртуках с блестящими погонами. Перезнакомились. Они рассказывали мне о невообразимой путанице, которая здесь царствует, – никто ничего не знает, ни от кого ничего не добьешься.

– Вста-ать!!! – вдруг повелительно прокатился по комнате звонкий голос.

Все встали, поспешно оправляясь. Молодцевато вошел старик-генерал в очках и шутиливо гаркнул:

– Здравия желаю!

В ответ раздался приветственный гул. Генерал прошел в следующую комнату.

Ко мне подошел помощник дивизионного врача.

– Ну, наконец, нашли! В 38 полевом подвижном госпитале не хватает одного младшего ординатора, присутствие признало его больным. Вы вызваны на его место... Вот как раз ваш главный врач, представьтесь ему.

В канцелярию торопливо входил невысокий, худощавый старик в заношенном сюртуке, с почерневшими погонями коллежского советника. Я подошел, представился. Спрашиваю, куда мне нужно ходить, что делать.

– Что делать?.. Да делать нечего. Дайте в канцелярию свой адрес, больше ничего.

\* \* \*

День за днем шел без дела. Наш корпус выступал на Дальний Восток только через два месяца. Мы, врачи, подновляли свои знания по хирургии, ходили в местную городскую больницу, присутствовали при операциях, работали на трупах.

Среди призванных из запаса товарищей-врачей были специалисты по самым разнообразным отраслям, – были психиатры, гигиенисты, детские врачи, акушеры. Нас распределили по госпиталю, по лазаретам, по полкам, руководясь мобилизационными списками и совершенно не интересуясь нашими специальностями. Были врачи, давно уже бросившие практику; один из них лет восемь назад, тотчас же по окончании университета, поступил в акциз и за всю свою жизнь самостоятельно не прописал ни одного рецепта.

Я был назначен в полевой подвижной госпиталь. К каждой дивизии в военное время придается по два таких госпиталя. В госпитале – главный врач, один старший ординатор и три младших. Низшие должности были замещены врачами, призванными из запаса, высшие – военными врачами.

Нашего главного врача, д-ра Давыдова, я видел редко: он был занят формированием госпиталя, кроме того, имел в городе обширную практику и постоянно куда-нибудь торопился. В штабе я познакомился с главным врачом другого госпиталя нашей дивизии, д-ром Мутиным. До мобилизации он был младшим врачом местного полка. Жил он еще в лагере полка, вместе с женою. Я провел у него вечер, встретил там младших ординаторов его госпиталя. Все они уже перезнакомились и сошлись друг с другом, отношения с Мутиным установились чисто товарищеские. Было весело, семейно и уютно. Я жалел и завидовал, что не попал в их госпиталь.

Через несколько дней в штаб дивизии неожиданно пришла из Москвы телеграмма: д-ру Мутину предписывалось сдать свой госпиталь какому-то д-ру Султанову, а самому немедленно ехать в Харбин и приступить там к формированию запасного госпиталя. Назначение было неожиданное и непонятное: Мутин уж сформировал здесь свой госпиталь, все устроил, – и вдруг это перемещение. Но, конечно, приходилось покориться. Еще через несколько дней пришла новая телеграмма: в Харбин Мутину не ехать, он снова назначается младшим врачом своего полка, какой и должен сопровождать на Дальний Восток; по приезде же с эшелоном в Харбин ему предписывалось приступить к формированию запасного госпиталя.

Обида была жестокая и незаслуженная. Мутин возмущался и волновался, осунулся, говорил, что после такого служебного оскорбления ему остается только пустить себе пулю в лоб. Он взял отпуск и поехал в Москву искать правды. У него были кое-какие связи, но добиться ему ничего не удалось: в Москве Мутину дали понять, что в дело замешана большая рука, против которой ничего нельзя поделать.

Мутин воротился к своему разбитому корыту – полковому околотку, а через несколько дней из Москвы приехал его преемник по госпиталю, д-р Султанов. Был это стройный господин лет за сорок, с бородкою клинышком и седеющими волосами, с умным, насмешливым лицом. Он умел легко заговаривать и разговаривать, везде сразу становился центром внимания и ленивым, серьезным голосом ронял остроты, от которых все смеялись. Султанов побыл в

городе несколько дней и уехал назад в Москву. Все заботы по дальнейшему устройству госпиталя он предоставил старшему ординатору.

Вскоре стало известно, что из четырех сестер милосердия, приглашенных в госпиталь из местной общины Красного Креста, оставлена в госпитале только одна. Д-р Султанов заявил, что остальных трех он заместит сам. Шли слухи, что Султанов – большой приятель нашего корпусного командира, что в его госпитале, в качестве сестер милосердия, едут на театр военных действий московские дамы, хорошие знакомые корпусного командира.

Город был полон войсками. Повсюду мелькали красные генеральские отвороты, золотые и серебряные приборы офицеров, желто-коричневые рубашки нижних чинов. Все козыряли, вытягивались друг перед другом. Все казалось странным и чуждым.

На моей одежде были серебряные пуговицы, на плечах – мишурные серебряные полоски. На этом основании всякий солдат был обязан почтительно вытягиваться передо мною и говорить какие-то особенные, нигде больше не принятые слова: «так точно!», «никак нет!», «рад стараться!» На этом же основании сам я был обязан проявлять глубокое почтение ко всякому старику, если его шинель была с красною подкладкою и вдоль штанов тянулись красные лампасы.

Я узнал, что в присутствии генерала я не имею права курить, без его разрешения не имею права сесть. Я узнал, что мой главный врач имеет право посадить меня на неделю под арест. И это без всякого права апелляции, даже без права потребовать объяснения по поводу ареста. Сам я имел подобную же власть над подчиненными мне нижними чинами. Создавалась какая-то особая атмосфера, видно было, как люди пьянели от власти над людьми, как их души настраивались на необычный, вызывавший улыбку лад.

Любопытно, как эта одурманивающая атмосфера подействовала на слабую голову одного товарища-врача, призванного из запаса. Это был д-р Васильев, тот самый старший ординатор, которому предоставил устраивать свой госпиталь уехавший в Москву д-р Султанов. Психически неуравновешенный, с болезненно-вздутым самолюбием, Васильев прямо ошалел от власти и почета, которыми вдруг оказался окруженным.

Однажды входит он в канцелярию своего госпиталя. Когда главный врач (пользующийся правами командира части) входил в канцелярию, офицер-смотритель обыкновенно командовал сидящим писарям: «встать!» Когда вошел Васильев, смотритель этого не сделал.

Васильев нахмурился, отозвал смотрителя в сторону и грозно спросил, почему он не скомандовал писарям встать. Смотритель пожал плечами.

– Это – только проявление известной вежливости, которую я волен вам оказывать, волен нет!

– Извините-с! Раз я исправляю должность главного врача, вы это по закону *обязаны* делать!

– Я такого закона не знаю!

– Ну, постарайтесь узнать, а пока отправляйтесь на двое суток под арест.

Офицер обратился к начальнику дивизии и рассказал ему, как было дело. Пригласили д-ра Васильева. Генерал, начальник его штаба и два штаб-офицера разобрали дело и порешили: смотритель был обязан крикнуть: «встать!» От ареста его освободили, но перевели из госпиталя в строй.

Когда смотритель ушел, начальник дивизии сказал д-ру Васильеву:

– Вы видите, я генерал. Я служу уж почти сорок лет, поседел на службе, – и до сих пор *ни разу* еще не посадил офицера под арест. Вы только что попали на военную службу, временно, на несколько дней получили власть, – и уж поспешили использовать эту власть в полнейшем ее объеме.

В мирное время нашего корпуса не существовало. При мобилизации он был развернут из одной бригады и почти целиком состоял из запасных. Солдаты были отвыкшие от дисциплины,

удрученные думами о своих семьях, многие даже не знали обращения с винтовками нового образца. Они шли на войну, а в России оставались войска молодые, свежие, состоявшие из кадровых солдат. Рассказывали, что военный министр Сахаров сильно враждует с Куропаткиным и нарочно, чтобы вредить ему, посылает на Дальний Восток самые плохие войска. Слухи были очень настойчивы, и Сахарову в беседах с корреспондентами приходилось усиленно оправдываться в своем непонятном образе действий.

Я познакомился в штабе с местным дивизионным врачом; он по болезни уходил в отставку и дослуживал свои последние дни. Был это очень милый и добродушный старичок, – жалкий какой-то, жестоко поклеванный жизнью. Я из любопытства поехал с ним в местный военный лазарет на заседание комиссии, которая осматривала солдат, заявившихся больными. Мобилизованы были и запасные самых ранних призывов; перед глазами бесконечную вереницею проходили ревматики, эмфизематики, беззубые, с растяжением ножных вен. Председатель комиссии, бравый кавалерийский полковник, морщился и жаловался, что очень много «протестованных». Меня, напротив, удивляло, скольких явно больных заседавшие здесь военные врачи не «протестуют». По окончании заседания к моему знакомцу обратился один из врачей комиссии:

– Мы тут без вас признали одного негодным к службе. Посмотрите, – можно его освободить? Сильнейшее varicosele.

Ввели солдата.

– Спусти штаны! – резко, каким-то особенным, подозревающим голосом сказал дивизионный врач. – Эге! Это-то? Пу-устяки! Нет, нет, освободить нельзя!

– Ваше высокородие, я совсем ходить не могу, – угрюмо заявил солдат.

Старичок вдруг вскипел.

– Врешь! Притворяешься! Великолепно можешь ходить!.. У меня, брат, у самого еще больше, а вот хожу!.. Да это пустяки, помилуйте! – обратился он к врачу. – Это у большинства так... Мерзавец какой! Сукин сын!

Солдат одевался, с ненавистью глядя исподлобья на дивизионного врача. Оделся и медленно пошел к двери, расставляя ноги.

– Иди как следует! – заорал старик, бешено затопав ногами. – Чего раскорячился? Прямо ступай! Меня, брат, не надуешь!

Они обменялись взглядами, полными ненависти. Солдат вышел.

В полках старшие врачи, военные, твердили младшим, призванным из запаса:

– Вы незнакомы с условиями военной службы. Относитесь к солдатам построже, имейте в виду, что это не обычный пациент. Все они удивительные лодыри и симулянты.

Один солдат обратился к старшему врачу полка с жалобой на боли в ногах, мешающие ходить. Наружных признаков не было, врач раскричался на солдата и прогнал его. Младший полковой врач пошел следом за солдатом, тщательно осмотрел его и нашел типическую, резко выраженную плоскую стопу. Солдат был освобожден. Через несколько дней этот же младший врач присутствовал в качестве дежурного на стрельбе. Солдаты возвращаются, один сильно отстал, как-то странно припадает на ноги. Врач спросил, что с ним.

– Ноги болят. Только болезнь нутряная, снаружи не видно, – сдержанно и угрюмо ответил солдат.

Врач исследовал, – оказалось полное отсутствие коленных рефлексов. Разумеется, освободили и этого солдата.

Вот они, лодыри! И освобождены они были только потому, что молодой врач «не был знаком с условиями военной службы».

Нечего говорить, как жестоко было отправлять на войну всю эту немощную, стариковскую силу. Но прежде всего это было даже прямо нерасчетливо. Проехав семь тысяч верст на Дальний Восток, эти солдаты после первого же перехода сваливались. Они заполняли госпи-

тали, этапы, слабосильные команды, через один-два месяца – сами никуда уж не годные, не принесшие никакой пользы и дорого обошедшие казне, – эвакуировались обратно в Россию.

\* \* \*

Город все время жил в страхе и трепете. Буйные толпы призванных солдат шатались по городу, грабили прохожих и разносили казенные винные лавки. Они говорили: «Пускай под суд отдадут, – все равно помирать!» Вечером за лагерями солдаты напали на пятьдесят возвращавшихся с кирпичного завода баб и изнасиловали их. На базаре шли глухие слухи, что готовится большой бунт запасных.

С востока приходили все новые известия о крупных успехах японцев и о лихих разведках русских сотников и поручиков. Газеты писали, что победы японцев в горах неувидительны, – они природные горные жители; но война переходит на равнину, мы можем развернуть нашу кавалерию, и дело теперь пойдет совсем иначе. Сообщалось, что у японцев совсем уже нет ни денег, ни людей, что убыль в солдатах пополняется четырнадцатилетними мальчиками и дряхлыми стариками. Куропаткин, исполняя свой никому неведомый план, отступал к грозно укрепленному Ляояну. Военные обозреватели писали: «Лук согнулся, тетива напряглась до крайности, – и скоро смертоносная стрела с страшною силою полетит в самое сердце врага».

Наши офицеры смотрели на будущее радостно. Они говорили, что в войне наступает перелом, победа русских несомненна, и нашему корпусу навряд ли даже придется быть в деле: мы там нужны только, как сорок тысяч лишних штыков при заключении мира.

В начале августа пошли на Дальний Восток эшелоны нашего корпуса. Один офицер, перед самым отходом своего эшелона, застрелился в гостинице. На Старом Базаре в булочную зашел солдат, купил фунт ситного хлеба, попросил дать ему нож нарезать хлеб и этим ножом полоснул себя по горлу. Другой солдат застрелился за лагерем из винтовки.

Однажды зашел я на вокзал, когда уходил эшелон. Было много публики, были представители от города. Начальник дивизии напутствовал уходящих речью; он говорил, что прежде всего нужно почитать бога, что мы с богом начали войну, с богом ее и кончим. Раздался звонок, пошло прощание. В воздухе стояли плач и вой женщин. Пьяные солдаты размещались в вагонах, публика совала отъезжающим деньги, мыло, папиросы.

Около вагона младший унтер-офицер прощался с женою и плакал, как маленький мальчик; усатое загорелое лицо было залито слезами, губы кривились и распускались от плача. Жена была тоже загорелая, скуластая и ужасно безобразная. На ее руке сидел грудной ребенок в шапочке из разноцветных лоскутков, баба качалась от рыданий, и ребенок на ее руке качался, как листок под ветром. Муж рыдал и целовал безобразное лицо бабы, целовал в губы, в глаза, ребенок на ее руке качался. Странно было, что можно так рыдать от любви к этой уродливой женщине, и к горлу подступали слезы от несшихся отовсюду рыданий и всхлипывающих вздохов. И глаза жадно останавливались на набитых в вагоны людях: сколько из них воротится? сколько ляжет трупами на далеких залитых кровью полях?

– Ну, садись, полезай в вагон! – торопили унтер-офицера. Его подхватили под руки и подняли в вагон. Он, рыдая, рвался наружу к рыдающей бабе с качающимся на руке ребенком.

– Разве солдат может плакать? – строго и упрекающе говорил фельдфебель.

– Ма-атушка ты моя ро-одненькая!.. – тоскливо выли бабьи голоса.

– Отходи, отходи! – повторяли жандармы и оттесняли толпу от вагонов. Но толпа сейчас же опять прилиwała назад, и жандармы опять теснили ее.

– Чего стараетесь, продажные души? Аль не жалко вам? – с негодованием говорили из толпы.

– Не жалко? Нешто не жалко? – поучающе возражал жандарм. – А только так-то вот люди и режутся, и режут. И под колеса бросаются. Нужно смотреть.

Поезд двинулся. Вой баб стал громче. Жандармы оттесняли толпу. Из нее выскочил солдат, быстро перебежал платформу и протянул уезжавшим бутылку водки. Вдруг, как из земли, перед солдатом вырос комендант. Он вырвал у солдата бутылку и ударил ее о плиты. Бутылка разлетелась вдребезги. В публике и в двигавшихся вагонах раздался угрожающий ропот. Солдат вспыхнул и злобно закусил губу.

– Не имеешь права бутылку разбивать! – крикнул он на офицера.

– Что-о?

Комендант размахнулся и изо всей силы ударил солдата по лицу. Неизвестно откуда, вдруг появилась стража с ружьями и окружила солдата.

Вагоны двигались все скорее, пьяные солдаты и публика кричали «ура!». Безобразная жена унтер-офицера покачнулась и, роняя ребенка, без чувств повалилась наземь. Соседка подхватила ребенка.

Поезд исчезал вдали. По перрону к арестованному солдату шел начальник дивизии.

– Ты что это, голубчик, с офицерами вздумал ругаться, а? – сказал он.

Солдат стоял бледный, сдерживая бушевавшую в нем ярость.

– Ваше превосходительство! Лучше бы он у меня столько крови пролил, сколько водки...

Ведь нам в водке только и жизнь, ваше превосходительство!

Публика теснилась вокруг.

– Его самого офицер по лицу ударил. Позвольте, генерал, узнать, – есть такой закон?

Начальник дивизии как будто не слышал. Он сквозь очки взглянул на солдата и отдельно произнес:

– Под суд, в разряд штрафованных – и порка!.. Увести его.

Генерал пошел прочь, повторив еще раз медленно и отдельно:

– Под суд, в разряд штрафованных – и порка!

## II. В пути

Отходил наш эшелон.

Поезд стоял далеко от платформы, на запасном пути. Вокруг вагонов толпились солдаты, мужики, мастеровые и бабы. Монопольки уже две недели не торговали, но почти все солдаты были пьяны. Сквозь тягуче-скорбный вой женщин прорезывались бойкие переборы гармоника, шутки и смех. У электрического фонаря, прислонившись спиной к его подножью, сидел мужик с провалившимся носом, в рваном зипуне, и жевал хлеб.

Наш смотритель, – поручик, призванный из запаса, – в новом кителе и блестящих погонах, слегка взволнованный, расхаживал вдоль поезда.

– По ваго-онам! – раздался его надменно-повелительный голос.

Толпа спешно всколыхнулась. Стали прощаться. Шатающийся, пьяный солдат впился губами в губы старухи в черном платочке, приник к ним долго, крепко; больно было смотреть, казалось, он выдавит ей зубы; наконец, оторвался, ринулся целоваться с блаженно улыбающимся, широкобородым мужиком. В воздухе, как завывание вьюги, тоскливо переливался вой женщин, он обрывался всхлипывающими передышками, ослабевал и снова усиливался.

– Бабы! Прочь от вагонов! – грозно крикнул поручик, идя вдоль поезда.

Из вагона трезвыми и суровыми глазами на поручика смотрел солдат с русою бородкой. – Баб наших, ваше благородие, вы гнать не смеете! – резко сказал он. – Вам над нами власть дадена, на нас и кричите. А баб наших не трогайте.

– Верно! Над бабами вам власти нету! – зароптали другие голоса.

Смотритель покраснел, но притворился, что не слышит, и более мягким голосом сказал:

– Запирай двери, поезд сейчас пойдет!

Раздался кондукторский свисток, поезд дрогнул и начал двигаться.

– Ура! – загремело в вагонах и в толпе.

Среди рыдающих, бессильно склонившихся жен, поддерживаемых мужчинами, мелькнуло безносое лицо мужика в рваном зипуне; из красных глаз мимо дыры носа текли слезы, и губы дергались.

– Ур-ра-а!!! – гремело в воздухе под учащавшийся грохот колес. В переднем вагоне хор солдат нестройно запел «Отче наш». Вдоль пути, отставая от поезда, быстро шел широкобородый мужик с блаженным красным лицом; он размахивал руками и, широко открывая темный рот, кричал «ура».

Навстречу кучками шли из мастерских железнодорожные рабочие в синих блузах.

– Вертайтесь, братцы, здоровы! – крикнул один.

Другой взбросил фуражку высоко в воздух.

– Ура! – раздалось в ответ из вагонов.

Поезд грохотал и мчался вдаль. Пьяный солдат, высунувшись по пояс из высоко поставленного, маленького оконца товарного вагона, непрерывно все кричал «ура», его профиль с раскрытым ртом темнел на фоне синего неба. Люди и здания остались позади, он махал фуражкой телеграфным столбам и продолжал кричать «ура».

В наше купе вошел смотритель. Он был смущен и взволнован.

– Вы слышали? Мне сейчас рассказывали на вокзале офицеры: говорят, вчера солдаты убили в дороге полковника Лукашева. Они пьяные стали стрелять из вагонов в проходившее стадо, он начал их останавливать, они его застрелили.

– Я это иначе слышал, – возразил я. – Он очень грубо и жестоко обращался с солдатами, они еще тут говорили, что убьют его в дороге.

– Да-а... – Смотритель помолчал, широко открытыми глазами глядя перед собою. – Однако нужно быть с ними поосторожнее...

\* \* \*

В солдатских вагонах шло непрерывное пьянство. Где, как доставали солдаты водку, никто не знал, но водки у них было сколько угодно. Днем и ночью из вагонов неслись песни, пьяный говор, смех. При отходе поезда от станции солдаты нестройно и пьяно, с вялым надсадом, кричали «ура», а привыкшая к проходящим эшелонам публика молча и равнодушно смотрела на них.

Тот же вялый надсад чувствовался и в солдатском веселье. Хотелось веселиться вовсю, веселиться все время, но это не удавалось. Было пьяно, и все-таки скучно. Ефрейтор Сучков, бывший сапожник, упорно и деловито плясал на каждой остановке. Как будто службу какую-то исполнял. Солдаты толпились вокруг.

Длинный и вихрастый, в ситцевой рубашке, заправленной в брюки, Сучков станет, хлопнет в ладоши и, присев, пойдет под гармонику. Движения медленные и раздражающе-вялые, тело мягко извивается, как будто оно без костей, ноги, болтаясь, вылетают вперед. Потом он захватит руками носок сапога и продолжает плясать на одной ноге, тело все так же извивается, и странно, – как он, насквозь пьяный, удерживается на одной ноге? А Сучков вдруг подпрыгнет, затопает ногами, – и опять вылетают вперед болтающиеся ноги, и надоедливо-вяло извивается словно бескостное тело.

Кругом посмеиваются.

– Ты бы, дядя, повеселее!

– Слышь, земляк! Ступай за ворота! Наплачься раньше, а потом пляши!

– Есть одно колено, его только и показывает! – махнув рукою, говорит ротный фельдшер и отходит прочь.

Как будто и самого Сучкова начинает выводить из себя вялость его движений, бессильных разразиться лихою пляскою. Он вдруг остановится, топнет ногою и яростно заколотит себя кулаками в грудь.

– Ну-ка, еще по грудям стукни, что у тебя там звенело? – смеется фельдфебель.

– Буде плясать, оставь на завтра, – сурово говорят солдаты и лезут обратно в вагоны.

Но иногда, – нечаянно, сама собою, – вдруг на каком-нибудь полустанке вспыхивала бешеная пляска. Помост трещал под каблуками, сильные тела изгибались, приседали, подпрыгивали, как мячики, и в выжженную солнцем степь неслись безумно-веселые уханья и присвисты.

На Самаро-Златоустовской дороге нас нагнал командир нашего корпуса; он ехал в отдельном вагоне со скорым поездом. Поднялась суета, бледный смотритель взволнованно выстраивал перед вагонами команду, «кто в чем есть», – так приказал корпусный. Самых пьяных убрали в дальние вагоны.

Генерал перешел через рельсы на четвертый путь, где стоял наш эшелон, и пошел вдоль выстроившихся солдат. К некоторым он обращался с вопросами, те отвечали связно, но старались не дышать на генерала. Он молча пошел назад.

Увы! На перроне, недалеко от вагона корпусного командира, среди толпы зрителей плясал Сучков! Он плясал и вызывал плясать с собою кокетливую, полногрудую горничную.

– Ты что ж, вареной колбасы хочешь? Что не пляшешь?

Горничная, посмеиваясь, ушла в толпу, Сучков бросился за нею.

– Ну, чертовка, ты у меня смотри! Я тебя заметил!..

Смотритель обомлел.

– Убрать его, – грозно прошипел он другим солдатам.

Солдаты подхватили Сучкова и потащили прочь. Сучков ругался, кричал и упирался. Корпусный и начальник штаба молча смотрели со стороны.

Через минуту главный врач стоял перед корпусным командиром, вытянувшись и приложив руку к козырьку. Генерал сурово сказал ему что-то и вместе с начальником штаба ушел в свой вагон.

Начальник штаба вышел обратно. Похлопывая изящным стеклом по лакированному сапогу, он направился к главному врачу и смотрителю.

– Его высокопревосходительство объявляет вам строгий выговор. Мы обогнали много эшелонов, все представлялись в полном порядке! Только у вас вся команда пьяна.

– Г. полковник, ничего нельзя с ними поделать.

– Вы бы им давали книжки религиозно-нравственного содержания.

– Не помогает. Читают и все-таки пьют.

– Ну, а тогда... – Полковник выразительно махнул по воздуху стеклом. – Попробуйте...

Это великолепно помогает.

Был этот разговор не позже, как через две недели после высочайшего манифеста о полной отмене телесных наказаний.

\* \* \*

Мы «перевалили через Урал». Кругом пошли степи. Эшелоны медленно ползли один за другим, стоянки на станциях были бесконечны. За сутки мы проезжали всего полтораста – двести верст.

Во всех эшелонах шло такое же пьянство, как и в нашем. Солдаты буйствовали, громили железнодорожные буфеты и поселки. Дисциплины было мало, и поддерживать ее было очень нелегко. Она целиком опиралась на устрашение, – но люди знали, что едут умирать, чем же их было устроить? Смерть – так ведь и без того смерть; другое наказание, – какое ни будь, все-таки же оно лучше смерти. И происходили такие сцены.

Начальник эшелона подходит к выстроившимся у поезда солдатам. На фланге стоит унтер-офицер и... курит папироску.

– Это что такое? Ты – унтер-офицер! – не знаешь, что в строю нельзя курить?..

– Отчего же... пфф! пфф!.. отчего же это мне не курить? – спокойно спрашивает унтер-офицер, попыхивая папироскою. И ясно, он именно добивается, чтоб его отдали под суд.

У нас в вагоне шла своя однообразная и размеренная жизнь. Мы, четверо «младших» врачей, ехали в двух соседних купе: старший ординатор Гречихин, младшие ординаторы Селюков, Шанцер и я. Люди все были славные, мы хорошо сошлись. Читали, спорили, играли в шахматы.

Иногда к нам заходил из своего отдельного купе наш главный врач Давыдов. Он много и охотно рассказывал нам об условиях службы военного врача, о царящих в военном ведомстве непорядках; рассказывал о своих столкновениях с начальством и о том, как благородно и независимо он держался в этих столкновениях. В рассказах его чувствовалась хвастливость и желание подладиться под наши взгляды. Интеллигентного в нем было мало, шутки его были циничны, мнения пошлы и банальны.

За Давыдовым по пятам всюду следовал смотритель, офицер-поручик, взятый из запаса. До призыва он служил земским начальником. Рассказывали, что, благодаря большой протекции, ему удалось избежать строя и попасть в смотрители госпиталя. Был это полный, красивый мужчина лет под тридцать, – туповатый, заносчивый и самовлюбленный, на редкость ленивый и нераспорядительный. Отношения с главным врачом у него были великолепные. На будущее он смотрел мрачно и грустно.

– Я знаю, с войны я не ворочусь. Я страшно много пью воды, а вода там плохая, непременно заражусь тифом или дизентерией. А то под хунхузскую пулю попаду. Вообще, воротиться домой я не рассчитываю.

Ехали с нами еще аптекарь, священник, два зауряд-чиновника и четыре сестры милосердия. Сестры были простые, мало интеллигентные девушки. Они говорили «колидор», «милосливый государь», обиженно дулись на наши невинные шутки и сконфуженно смеялись на двусмысленные шутки главного врача и смотрителя.

На больших остановках нас нагонял эшелон, в котором ехал другой госпиталь нашей дивизии. Из вагона своею красивою, лениво-развалистою походкой выходил стройный д-р Султанов, ведя под руку изящно одетую, высокую барышню. Это, как рассказывали, – его племянница. И другие сестры были одеты очень изящно, говорили по-французски, вокруг них увивались штабные офицеры.

До своего госпиталя Султанову было мало дела. Люди его голодали, лошади тоже. Однажды, рано утром, во время стоянки, наш главный врач съездил в город, купил сена, овса. Фураж привезли и сложили на платформе между нашим эшелонем и эшелонем Султанова. Из окна выглянул только что проснувшийся Султанов. По платформе суетливо шел Давыдов. Султанов торжествующе указал ему на фураж.

– А у меня вот уж есть овес! – сказал он.

– Та-ак! – иронически отозвался Давыдов.

– Видите? И сено.

– И сено? Великолепно!.. Только я все это прикажу сейчас грузить в мои вагоны.

– Как это так?

– Так. Потому что это я купил.

– А-а... А я думал, мой смотритель. – Султанов лениво зевнул и обратился к стоявшей рядом племяннице: – Ну, что ж, пойдем на вокзал кофе пить!

\* \* \*

Сотни верст за сотнями. Местность ровная, как стол, мелкие перелески, кустарник. Пашен почти не видно, одни луга. Зеленеют выкошенные поляны, темнеют копны и небольшие стожки. Но больше лугов нескошенных; рыжая, высохшая на корню трава клонится под ветром и шуршит семенами в сухих семенных коробочках. Один перегон в нашем эшелоне ехал местный крестьянский начальник, он рассказывал: рабочих рук нет, всех взрослых мужчин, включая ополченцев, угнали на войну; луга гибнут, пашни не обработаны.

Однажды под вечер, где-то под Каинском, наш поезд вдруг стал давать тревожные свистки и круто остановился среди поля. Вбежал денщик и оживленно сообщил, что сейчас мы чуть-чуть не столкнулись с встречным поездом. Подобные тревоги случались то и дело: дорожные служащие были переутомлены сверх всякой меры, уходить им не позволялось под страхом военного суда, вагоны были старые, изношенные; то загоралась ось, то отрывались вагоны, то поезд проскакивал мимо стрелки.

Мы вышли наружу. Впереди перед нашим поездом виднелся другой поезд. Паровозы стояли, выпучив друг на друга свои круглые фонари, как два врага, встретившиеся на узкой тропинке. В сторону тянулась кочковатая, заросшая осокою поляна; вдали, меж кустов, темнели копны сена.

Встречный поезд задним ходом двинулся обратно. Дал свисток и наш поезд. Вдруг вижу, – от кустов бежит через поляну к вагонам несколько наших солдат, и у каждого в руках огромная охапка сена.

– Эй! Бросьте сено! – крикнул я.

Они продолжали бежать к поезду. Из солдатских вагонов слышались поощрительные замечания.

– Нет уж! Добежали, – теперь сено наше!

Из окна вагона с любопытством смотрели главный врач и смотритель.

– Сейчас же бросить сено, слышите?! – грозно заорал я.

Солдаты побросали охапки на откос и с недовольным ворчанием полезли в двинувшийся поезд. Я, возмущенный, вошел в вагон.

– Черт знает, что такое! Здесь уж, у своих, начинается мародерство! И как бесцеремонно, – у всех на глазах!

– Да ведь тут сену цена грош, оно все равно сгниет в копнах, – неохотно возразил главный врач.

Я удивился:

– То есть, как это? Позвольте! Вы же вчера только слышали, что рассказывал крестьянский начальник: сено, напротив, очень дорого, косить его некому; интендантство платит по сорок копеек за пуд. А главное, ведь это же *мародерство*, этого в принципе нельзя допускать.

– Ну, да! Ну, да, конечно! Кто ж об этом спорит? – поспешно согласился главный врач.

Разговор оставил во мне странное впечатление. Я ждал, что главный врач и смотритель возмутятся, что они соберут команду, строго и решительно запретят ей мародерствовать. Но они отнеслись к происшедшему с глубочайшим равнодушием. Денщик, слышавший наш разговор, со сдержанною усмешкой заметил мне:

– Для кого солдат тащит? Для лошадей. Начальству же лучше, – за сено не платить.

Тогда мне вдруг стало понятно и то, что меня немножко удивило три дня назад: главный врач на одной маленькой станции купил тысячу пудов овса по очень дешевой цене; он ворочился в вагон довольный и сияющий.

– Купил сейчас овес по сорок пять копеек! – с торжеством сообщил он.

Меня удивило, – неужели он так радуется, что сберег для казны несколько сот рублей? Теперь его восторг становился мне более понятным.

На каждой станции солдаты тащили все, что попадалось под руку. Часто нельзя было даже понять, для чего это им. Попадаетея собака, – они подхватывают ее и водворяют на вагонеплатформе между фурами; через день-другой собака убегает, солдаты ловят новую. Как-то заглянул я на одну из платформ: в сене были сложены красная деревянная миска, небольшой чугунный котел, два топора, табуретка, шайки. Это все была добыча. На одном разъезде вышел я походить. У откоса стоит ржавая чугунная печка; вокруг нее подозрительно толкуются наши солдаты, поглядывают на меня и посмеиваются. Я поднялся в свой вагон, они встрепенулись. Через несколько минут я вышел опять. Печки на откосе нет, солдаты ныряют под вагоны, в одном из вагонов с грохотом передвигается что-то тяжелое.

– Живого человека стащат и спрячут! – весело говорит мне сидящий на откосе солдат.

Как-то вечером, на станции Хилок, я вышел из поезда, спрашиваю мальчика, нельзя ли где купить здесь хлеба.

– Там на горе еврей торгует, да он заперся.

– Отчего?

– Боится.

– Чего же боится?

Мальчик промолчал. Мимо шел солдат с чайником кипятку.

– Если днем тащим все, то ночью лавку вместе с жидом самим стащим! – на ходу объяснил он мне.

На больших остановках солдаты разводили костры и то варили суп из кур, взявшихся неизвестно откуда, то палили свинью, будто бы задавленную нашим поездом.

Часто они разыгрывали свои реквизиции по очень тонким и хитрым планам. Однажды мы долго стояли у небольшой станции. Худой, высокий и испитой хохол Кучеренко, остряк нашей команды, дурачился на полянке у поезда. Он напялил на себя какую-то рогожу, шатался, изображая пьяного. Солдат, смеясь, толкнул его в канаву. Кучеренко повозился там и полез назад; за собою он сосредоточенно тащил погнутый и ржавый железный цилиндр из-под печки.

– Каспада, сичас путит мусика!.. Пашалста, нэ мэшайт! – объявил он, изображая из себя иностранца.

Вокруг толпились солдаты и обитатели станционного поселка. Кучеренко, с рогожею на плечах, возился над своим цилиндром, как медведь над чурбаном. С величественно-серьезным видом он задвигал около цилиндра рукою, как будто вертел воображаемую ручку шарманки, и хрипло запел:

Зачем ты, безумная... Трр... Трр... Уу-о! Того, кто... уээ! Трр... Трр... завлекся... Трррр...

Кучеренко изображал испорченную шарманку до того великолепно, что все кругом хохотали: станционные жители, солдаты, мы. Сняв фуражку, он стал обходить публику.

– Каспада, пошалуйтэ пэдному тальянскому мусиканту за труды.

Унтер-офицер Сметанников сунул ему в руку камень. Кучеренко в недоумении покрутил над камнем головою и швырнул его в спину убежавшему Сметанникову.

– По вагонам! – раздалась команда. Поезд свистнул, солдаты стремглав бросились к вагонам.

На следующей остановке они варили на костре суп: в котле густо плавали куры и утки. Подошли две наших сестры.

– Не желаете ли, сестрицы, курятинки? – предложили солдаты.

– Откуда она у вас?

Солдаты лукаво посмеивались.

– Музыканту нашему за труды подали!

Оказалось, пока Кучеренко отвлекал на себя внимание жителей поселка, другие солдаты очищали их дворы от птичьей живности. Сестры начали стыдить солдат, говорили, что воровать нехорошо.

– Ничего нехорошего! Мы на царской службе, что ж нам есть? Вон, три дня уж горячей пищи не дают, на станциях ничего не купишь, хлеб невыпеченный. С голоду, что ли, издыхать?

– Мы что! – заметил другой. – А вон кирсановцы, так те целых две коровы стащили!

– Ну, вот представь себе: у тебя, скажем, дома одна корова; и вдруг свои же, православные, возьмут ее и сведут! Разве бы не обидно было тебе? То же вот и здесь: может быть, последнюю корову свели у мужика, он теперь убивается с горя, плачет.

– Э!.. – Солдат махнул рукой. – А у нас нешто мало плачут? Везде плачут.

\* \* \*

Когда мы были под Красноярском, стали приходиться вести о Ляоянском бое. Сначала, по обычаю, телеграммы извещали о близкой победе, об отступающих японцах, о захваченных орудиях. Потом пошли телеграммы со смутными, зловещими недомолвками, и наконец – обычное сообщение об отступлении «в полном порядке». Жадно все хватались за газеты, вчитывались в телеграммы, – дело было ясно: мы разбиты и в этом бою, неприступный Ляоян взят, «смертоносная стрела» с «туго натянутой тетивы» бессильно упала на землю, и мы опять бежим.

Настроение в эшелонах было мрачное и подавленное.

Вечером мы сидели в маленьком зале небольшой станции, ели скверные, десяток раз подогретые щи. Скопилось несколько эшелонов, зал был полон офицерами. Против нас сидел высокий, с впалыми щеками штабс-капитан, рядом с ним молчаливый подполковник.

Штабс-капитан громко, на всю залу, говорил:

– Японские офицеры отказались от своего содержания в пользу казны, а сами перешли на солдатский паек. Министр народного просвещения, чтобы послужить родине, пошел на войну простым рядовым. Жизнь свою никто не дорожит, каждый готов все отдать за родину. Почему? Потому что у них есть идея. Потому что они знают, за что сражаются. И все они обра-

зованные, все солдаты грамотные. У каждого солдата компас, план, каждый дает себе отчет в заданной задаче. И от маршала до последнего рядового, все думают только о победе над врагом. И интендантство думает об этом же.

Штабс-капитан говорил то, что все знали из газет, но говорил так, как будто он все это специально изучил, а никто кругом этого не знает. У буфета шумел и о чем-то препирался с буфетчиком необъятно-толстый, пьяный капитан.

– А у нас что? – продолжал штабс-капитан. – Кто из нас знает, зачем война? Кто из нас воодушевлен? Только и разговоров, что о прогонах да о подъемных. Гонят нас всех, как баранов. Генералы наши то и знают, что ссорятся меж собою. Интендантство ворует. Посмотрите на сапоги наших солдат, – в два месяца совсем истрепались. А ведь принимало сапоги двадцать пять комиссий!

– И забраковать нельзя, – поддержал его наш главный врач. – Товар не перегорелый, не гнилой.

– Да. А в первый же дождь подошва под ногою разъезжается... Ну-ка, скажите мне, пожалуйста, – может такой солдат победить или нет?

Он громко говорил на всю залу, и все сочувственно слушали. Наш смотритель опасливо поглядывал по сторонам. Он почувствовал себя неловко от этих громких, небоящихся речей и стал возражать: вся суть в том, как сшит сапог, а товар интендантства прекрасный, он сам его видел и может засвидетельствовать.

– И как хотите, господа, – своим полным, самоуверенным голосом заявил смотритель. – Дело вовсе не в сапогах, а в духе армии. Хорош дух, – и во всяких сапогах разобьешь врага.

– Босой, с ногами в язвах, не разобьешь, – возразил штабс-капитан.

– А дух хорош? – с любопытством спросил подполковник.

– Мы сами виноваты, что нехорош! – горячо заговорил смотритель. – Мы не сумели воспитать солдата. Видите ли, ему *идея* нужна! Идея, – скажите, пожалуйста! И нас, и солдат должен вести воинский долг, а не идея. Не дело военного говорить об идеях, его дело без разговора идти и умирать.

Подошел шумевший у буфета толстый капитан. Он молча стоял, качался на ногах и пучил глаза на говоривших.

– Нет, господа, вы мне вот что скажите, – вдруг вмешался он. – Ну, как, – как я буду брать сопку?!

Он разводил руками и с недоумением оглядывал свой огромный живот.

\* \* \*

Назади остались степи, местность становилась гористой. Вместо маленьких, корявых березок кругом высились могучие, сплошные леса. Таежные сосны сурово и сухо шумели под ветром, и осина, красавица осени, сверкала среди темной хвои нежным золотом, пурпуром и багрянцем. У железнодорожных мостиков и на каждой версте стояли охранники-часовые, в сумерках их одинокие фигуры темнели среди глухой чащи тайги.

Проехали мы Красноярск, Иркутск, поздно ночью прибыли на станцию Байкал. Нас встретил помощник коменданта, приказано было немедленно вывести из вагонов людей и лошадей; платформы с повозками должны были идти на ледоколе неразгруженными.

До трех часов ночи мы сидели в маленьком, тесном зале станции. В буфете нельзя было ничего получить, кроме чаю и водки, потому что в кухне шел ремонт. На платформе и в багажном зале вповалку спали наши солдаты. Пришел еще эшелон; он должен был переправляться на ледоколе вместе с нами. Эшелон был громадный, в тысячу двести человек; в нем шли на пополнение частей запасные из Уфимской, Казанской и Самарской губерний; были здесь русские, татары, мордвины, все больше пожилые, почти старые люди.

Уже в пути мы заметили этот злосчастный эшелон. У солдат были малиновые погоны без всяких цифр и знаков, и мы прозвали их «малиновой командой». Команду вел один поручик. Чтобы не заботиться о довольствии солдат, он выдавал им на руки казенные 21 копейку и предоставлял им питаться, как хотят. На каждой станции солдаты рыскали по платформе и окрестным лавочкам, раздобывая себе пищи.

Но на такую массу людей припасов не хватало. На эту массу не хватало не только припасов, – не хватало кипятку. Поезд останавливался, из вагонов спешно выскакивали с чайниками приземистые, скуластые фигуры и бежали к будочке, на которой красовалась большая вывеска: «кипяток бесплатно».

– Давай кипятку!

– Кипятку нет. Греют. Эшелоны весь разобрали.

Одни вяло возвращались обратно, другие, с сосредоточенными лицами, длинной вереницей стояли и ждали.

Иногда дождутся, чаще нет и с пустыми чайниками бегут к отходящим вагонам. Пели они на остановках и песни, пели скрипучими, жидкими тенорами, и странно: песни все были арестантские, однообразно-тягучие, тупо-равнодушные, и это удивительно подходило ко всему впечатлению от них.

Напрасно, напрасно в тюрьме я сижу, Напрасно на волю святую гляжу. Погиб я, мальчишка, погиб навсегда! Годы за годами проходят лета...

В третьем часу ночи в черной мгле озера загудел протяжный свисток, ледокол «Байкал» подошел к берегу. По бесконечной платформе мы пошли вдоль рельсов к пристани. Было холодно. Возле шпал тянулась выстроенная попарно «малиновая команда». Обвешанные мешками, с винтовками к ноге, солдаты неподвижно стояли с угрюмыми, сосредоточенными лицами; слышался незнакомый, гортанный говор.

Мы поднялись по сходням на какие-то мостки, повернули вправо, потом влево и незаметно вдруг очутились на верхней палубе парохода; было непонятно, где же она началась. На пристани ярко сияли электрические фонари, вдали мрачно чернела сырая темь озера. По сходням солдаты взводили волнующихся, нервно-вздрагивающих лошадей, внизу, отрывисто посвистывая, паровозы вкатывали в паровоз вагоны и платформы. Потом двинулись солдаты.

Они шли бесконечною вереницею, в серых, неуклюжих шинелях, обвешанные мешками, держа в руках винтовки прикладами к земле.

В узком входе на палубу солдаты сбивались в кучу и останавливались. Сбоку на возвышении стоял какой-то инженер и, выходя из себя, кричал:

– Да не задерживай! Чего толчетесь?.. Ах, с-сукины дети! Иди вперед, чего стоишь?!

И солдаты, с понуренными головами, напирали. И следом шли, шли все новые, – однообразные, серые, угрюмые, как будто стадо овец.

Все было погружено, прогудел третий свисток. Пароход дрогнул и стал медленно подаваться назад. В громадном, неясном сооружении с высокими помостами образовался ровный овальный вырез, – и сразу стало понятно, где кончались помосты и начиналось тело парохода. Плавно подрагивая, мы понеслись в темноту.

В паровозном зале первого класса было ярко, тепло и просторно. Пахло паровым отоплением; и каюты были уютные, теплые. Пришел поручик в фуражке с белым околышем, ведущий «малиновую команду». Познакомились. Он оказался очень милым господином.

Мы вместе поужинали. Легли спать, кто в каютах, кто в столовой. На заре меня разбудил товарищ Шанцер.

– Викентий Викентьевич, вставайте! Не пожалеете! Давно вас хотел разбудить. Теперь, все равно, через двадцать минут приходим.

Я вскочил, умылся. В столовой было тепло. В окно виднелся лежащий на палубе солдат; он спал, привалившись головою к мешку, скорчившись под шинелью, с посиневшим от стужи лицом.

Мы вышли на палубу. Светало. Тусклые, серые волны мрачно и медленно вздымались, водная гладь казалась выпуклою. По ту сторону озера нежно голубели далекие горы. На пристани, к которой мы подплывали, еще горели огни, а кругом к берегу теснились заросшие лесом горы, мрачные, как тоска. В отрогах и на вершинах белел снег. Черные горы эти казались густо закопченными, и боры на них – шершавою, взлохмаченною сажею, какая бывает в долго не чищенных печных трубах. Было удивительно, как черны эти горы и боры.

Поручик громко и восторженно восхищался. Солдаты, сидя у паровой трубы, кутались в шинели и угрюмо слушали. И везде, по всей палубе, лежали, скорчившись под шинелями, солдаты, тесно прижимаясь друг к другу. Было очень холодно, ветер пронизывал, как сквозняк. Всю ночь солдаты мерзли под ветром, жались к трубам и выступам, бегали по палубе, чтобы согреться.

Ледокол медленно подплыл к пристани, вошел в высокое сооружение с овальным вырезом и опять слился с запутанными помостами и сходнями, и опять нельзя было понять, где кончается пароход и начинаются мостки. Явился помощник коменданта и обратился к начальникам эшелонов с обычными вопросами.

Конюхи сводили по сходням фыркающих лошадей, внизу подходили паровозы и брали с нижней палубы вагоны. Двинулись команды. Опять, выходя из себя, свирепо кричали на солдат помощник коменданта и любезный, милый поручик с белым околышем. Опять солдаты толклись угрюмо и сосредоточенно, держа прикладами к земле винтовки с привинченными острием вниз штыками.

– Ах, подлецы! Чего они толкуются?.. Да идите вы, сукины дети (так-то вас и так-то)! Чего стали?.. Эй, ты! Куда ящик с патронами несешь? Сюда с патронами!

Медленную бесконечную вереницею мимо двигались солдаты. Прошел, внимательно глядя вперед, пожилой татарин с слегка отвисшею губою и опущенными вниз углами губ; прошел скуластый, бородатый пермяк с изрытым оспою лицом. Все выглядели совсем как мужики, и странно было видеть в их руках винтовки. И они шли, шли, лица сменялись, и на всех была та же ушедшая в себя, как будто застывшая под холодным ветром, дума. Никто не оглядывался на крики и ругательства офицеров, словно это было чем-то таким же стихийным, как рвавшийся с озера ледяной ветер.

Совсем рассвело. Над тусклым озером бежали тяжелые, свинцовые тучи. От пристани мы перешли на станцию. По путям, угрожающе посвистывая, маневрировали паровозы. Было ужасно холодно. Ноги стыли. Обогреться было негде. Солдаты стояли и сидели, прижавшись друг к другу, с теми же угрюмыми, ушедшими в себя, готовыми на муку лицами.

Я ходил по платформе с нашим аптекарем. В огромной косматой папахе, с орлиным носом на худощавом лице, он выглядел не как смирный провизор, а совсем как лихой казак.

– Вы откуда, ребята? – спросил он солдат, сидевших кучкою у фундамента станции.

– Казанские... Есть Уфимские, Самарские... – неохотно ответил маленький белобрысый солдат. На его груди, из-под повязанного через плечо полотнища палатки, торчал огромный ситный хлеб.

– Из Тимохинской волости есть, Казанской губернии?

Солдат просиял.

– Да мы тимохинские!

– Да ну?

– Ей-богу!.. Вот тоже он тимохинский!

– Каменку знаете?

– Н-нет... Никак нет! – поправился солдат.

– А Левашово?

– А как же! Мы туда на базар ездим! – с радостным удивлением отозвался солдат.

И с любовным, связывающим друг друга чувством они заговорили о родных местах, перебирали окрестные деревни. И здесь, в далекой стороне, на пороге кроваво-смертного царства, они радовались именам знакомых деревень и тому, что и другой произносил эти имена, как знакомые.

В зале третьего класса стояли шум и споры. Иззябшие солдаты требовали от сторожа, чтобы он затопил печку. Сторож отказывался, – не имеет права взять дров. Его корили и ругали.

– Ну, и Сибирь ваша проклятая! – в негодовании говорили солдаты. – Глаза мне завяжи, я с завязанными глазами пешком домой бы пошел!

– Какая это моя Сибирь, я сам из России, – огрызнулся заруганный сторож.

– Что на него смотреть? Вон сколько дров наложено. Возьмем, да и затопим!

Но они не решились. Мы пошли к коменданту попросить дров, чтобы вытопить станцию: солдатам предстояло ждать здесь еще часов пять. Оказалось, выдать дрова совершенно невозможно, никак невозможно: топить полагается только с 1 октября, теперь же начало сентября. А дрова кругом лежали горами.

Подали наш поезд. В вагоне было морозно, зуб не попадал на зуб, руки и ноги обратились в настоящие ледяшки. К коменданту пошел сам главный врач требовать, чтобы протопили вагон. Это тоже оказалось никак невозможно: и вагоны полагается топить только с 1-го октября.

– Скажите мне, пожалуйста, от кого же это зависит разрешить протопить вагон теперь? – в негодовании спросил главный врач.

– Пошлите телеграмму главному начальнику тяги. Если он разрешит, я прикажу истопить.

– Виноват, вы, кажется, обмолвились! Не министру ли путей сообщения нужно послать телеграмму? А может быть, телеграмму нужно послать на высочайшее имя?

– Что ж, пошлите на высочайшее имя! – любезно усмехнулся комендант и повернул спину.

Наш поезд двинулся. В студеных солдатских вагонах не слышно было обычных песен, все жались друг к другу в своих холодных шинелях, с мрачными, посинелыми лицами. А мимо двигавшегося поезда мелькали огромные кубы дров; на запасных путях стояли ряды вагонов-теплушек; но их теперь по закону тоже не полагалось давать.

\* \* \*

До Байкала мы ехали медленно, с долгими остановками. Теперь, по Забайкальской дороге, мы почти все время стояли. Стояли по пяти, по шести часов на каждом разъезде; проедем десять верст, – и опять стоим часами. Так привыкли стоять, что, когда вагон начинал колыхаться и грохотать колесами, являлось ощущение чего-то необычного; спохватишься, – уж опять стоим. Впереди, около станции Карымской, произошло три обвала пути, и дорога оказалась загражденною.

Было по-прежнему студено, солдаты мерзли в холодных вагонах. На станциях ничего нельзя было достать, – ни мяса, ни яиц, ни молока. От одного продовольственного пункта до другого ехали в течение трех-четырёх суток. Эшелоны по два, по три дня оставались совсем без пищи. Солдаты из своих денег платили на станциях за фунт черного хлеба по девять, по десять копеек.

Но хлеба не хватало даже на больших станциях. Пекарни, распродав товар, закрывались одна за другою. Солдаты рыскали по местечку и *Христа-ради* просили жителей *продать* им хлеба.

На одной станции мы нагнали шедший перед нами эшелон с строевыми солдатами. В проходе между их и нашим поездом толпа солдат окружила подполковника, начальника эшелона. Подполковник был слегка бледен, видимо, подбадривал себя изнутри, говорил громким, командующим голосом. Перед ним стоял молодой солдат, тоже бледный.

– Как тебя звать? – угрожающе спросил подполковник.

– Лебедев.

– Второй роты?

– Так точно!

– Хорошо, ты у меня узнаешь. На каждой остановке галдеж! Я вам вчера говорил, берегите хлеб, а вы, что не доели, в окошко кидали... Где ж я вам возьму?

– Это мы понимаем, что тут хлеба нельзя достать, – возразил солдат. – А мы вчера ваше высокоблагородие просили, можно было на два дня взять... Ведь знали, сколько на каждом разъезде стоим.

– Молчать! – гаркнул подполковник. – Еще слово скажешь, велю тебя арестовать!.. По вагонам! Марш!

И он ушел. Солдаты угрюмо полезли в вагоны.

– Издыхай, значит, с голоду! – весело сказал один.

Их поезд тронулся. Замелькали лица солдат, – бледные, озлобленно-задумчивые.

Чаще стали встречные санитарные поезда. На остановках все жадно обступали раненых, расспрашивали их. В окна виднелись лежавшие на койках тяжелораненые, – с восковыми лицами, покрытые повязками. Ощущалось веяние того ужасного и грозного, что творилось там.

Спросил я одного раненого офицера, – правда ли, что японцы добивают наших раненых? Офицер удивленно вскинул на меня глаза и пожал плечами.

– А наши не добивают? Сколько угодно! Особенно казаки. Попадись им японец, – по волоску всю голову выщиплют.

На приступочке солдатского вагона сидел сибирский казак с отрезанною ногою, с Георгием на халате. У него было широкое добродушное мужицкое лицо. Он участвовал в знаменитой стычке у Юдзятуня, под Вафангоу, когда две сотни сибирских казаков обрушились лавою на японский эскадрон и весь его перекололи пиками.

– Кони у них добрые, – рассказывал казак. – А вооружение плохое, никуда не тоже, одни пашки да револьверы. Как налетели мы с пиками, – они все равно, что безоружные, ничего с нами не могли поделать.

– Ты скольких заколол?

– Трех.

Он, с его славным, добродушным лицом, – он был участником этой чудовищной битвы кентавров!.. Я спросил:

– Ну, а как, когда колол, – ничего в душе не чувствовал?

– Первого неловко как-то было. Боязно было в живого человека колоть. А как проколол его, он свалился, – распалилась душа, еще бы рад десятков заколоть.

– А небось жалеешь, что ранен? Рад бы еще с япошкой подраться, а? – спросил наш письмоводитель, зауряд-чиновник.

– Нет, теперь о том думать, как ребятишек прокормить...

И мужицкое лицо казака омрачилось, глаза покраснели и налились слезами.

На одной из следующих станций, когда отходил шедший перед нами эшелон, солдаты, на команду «по вагонам!», остались стоять.

– По вагонам, слышите?! – грозно крикнул дежурный по эшелону.

Солдаты стояли. Некоторые полезли было в вагон, но товарищи стащили их назад.

– Не поедem дальше. Будет!

Явился начальник эшелона, комендант. Сначала они стали кричать, потом начали спрашивать, в чем дело, почему солдаты не хотят ехать. Солдаты никаких претензий не предъявили, а твердили одно:

– Не желаем дальше ехать! – Их увещевали, говорили о послушании, о начальстве. Солдаты отвечали: – С начальством нашим, дай срок, мы еще разделаемся!

Восьмерых арестовали. Остальные сели в вагоны и поехали дальше.

Поезд шел мимо диких, угрюмых гор, пробираясь вдоль русла реки. Над поездом нависали огромные глыбы, тянулись вверх зыбкие откосы из мелкого щебня. Казалось, кашляни, – и все это рухнет на поезд. Лунною ночью мы проехали за станцией Карымскою мимо обвала. Поезд шел по наскоро сделанному новому пути. Он шел тихо-тихо, словно крадучись, словно боясь задеть за нависшие сверху глыбы, почти касавшиеся поезда. Ветхие вагоны поскрипывали, паровоз пыхтел редко, как будто задерживая дыхание. По правую сторону из холодной, быстрой реки торчали свалившиеся каменные глыбы и кучи щебня.

Здесь подряд произошло три обвала. Почему три, почему не десять, не двадцать? Смотрел я на этот наскоро, кое-как пробитый в горах путь, сравнивал его с железными дорогами в Швейцарии, Тироле, Италии, и становилось понятным, что будет и десять, и двадцать обвалов. И вспоминались колоссальные цифры стоимости этой первобытно-убогой, как будто дикарями проложенной дороги.

Вечером на небольшой станции опять скопилось много эшелонов. Я ходил по платформе. В голове стояли рассказы встречных раненых, оживали и одевались плотью кровавые ужасы, творившиеся там. Было темно, по небу шли высокие тучи, порывами дул сильный, сухой ветер. Огромные сосны на откосе глухо шумели под ветром, их стволы поскрипывали.

Меж сосен горел костер, и пламя металось в черной тьме.

Вытянувшись друг возле друга, стояли эшелоны. Под тусклым светом фонарей на нарах двигались и копошились стриженные головы солдат. В вагонах пели. С разных сторон неслись разные песни, голоса сливались, в воздухе дрожало что-то могучее и широкое.

Вы спите, милые герои,  
Друзья, под бурю ревущей,  
Вас завтра глас разбудит мой,  
На славу и на смерть зовущий...

Я ходил по платформе. Протяжные, мужественные звуки «Ермака» слабели, их покрыла однообразная, тягуче-унылая арестантская песня из другого вагона.

Взгляну, взгляну в эту миску,  
Две капустинки плывут,  
А за ними почередно  
Плывет стадо черваков...

Из оставшегося назади вагона протяжно и грустно донеслось:

За Русь святую погибая...

А тягучая арестантская песенка рубила свое:

Брошу ложку, сам заплачу,  
Стану хлеба хоть глотать.  
Арестант ведь не собака,  
Он такой же человек.

Через два вагона вперед вдруг как будто кто-то крикнул от сильного удара в спину, и с удалым вскриком в тьму рванулись буйно-веселящие «Сени». Звуки крутились, свивались с уханьями и присвистами; в могучих мужских голосах, как быстрая змейка, бился частый, дробный, серебристо-стеклянный звон, – кто-то аккомпанировал на стакане. Притоптывали ноги, и песня бешено-веселым вихрем неслась навстречу суровому ветру.

Шел я назад, – и опять, как медленные волны, вздымались протяжные, мрачно-величественные звуки «Ермака». Пришел встречный товарный поезд, остановился. Эшелон с певцами двинулся. Гулко отдаваясь в промежутке между поездами, песня звучала могуче и сильно как гимн.

И мы не даром в свете жили...  
Сибирь царю покорена.

Поезда остались позади, – и вдруг словно что-то надломилось в могучем гимне, песня зазвучала тускло и развеялась в холодной, ветряной тьме.

\* \* \*

Утром просыпаюсь, – слышу за окном вагона детски-радостный голос солдата:  
– Тепло!

Небо ясно, солнце печет. Во все стороны тускнеет просторная степь, под теплым ветерком колыхается сухая, порыжелая трава. Вдали отлогие холмы, по степи маячат одинокие всадники-буряты, виднеются стада овец и двугорбых верблюдов. Денщик смотрителя, башкир Мохамедка, жадно смотрит в окно с улыбкою, расплывшеюся по плоскому лицу с приплюснутым носом.

– Мохамед, чего это ты?

– Вэрблуд! – радостно и конфузливо отвечает он, охваченный родными воспоминаниями.

И тепло, тепло. Не верится, что все эти дни было так тяжело, и холодно, и мрачно. Везде слышны веселые голоса. Везде звучат песни...

Все обвалы мы миновали, но ехали так же медленно, с такими же долгими остановками. По маршруту мы давно должны были быть в Харбине, но все еще ехали по Забайкалью.

Китайская граница была уже недалеко. И в памяти оживало то, что мы читали в газетах о хунхузах, об их зверино-холодной жестокости, о невероятных муках, которым они подвергают захваченных русских. Вообще, с самого моего призыва, наиболее страшное, что мне представлялось впереди, были эти хунхузы. При мысли о них по душе проводил холодный ужас.

На одном разъезде наш поезд стоял очень долго. Невдалеке виднелось бурятское кочевье. Мы пошли его посмотреть. Нас с любопытством обступили косоглазые люди с плоскими, коричневыми лицами. По земле ползали голые, бронзовые ребята, женщины в хитрых прическах курили длинные чубуки. У юрт была привязана к колышку грязно-белая овца с небольшим курдюком. Главный врач торговал эту овцу у бурятов и велел им сейчас же ее зарезать.

Овцу отвязали, повалили на спину, на живот ей сел молодой бурят с одутловатым лицом и большим ртом. Кругом стояли другие буряты, но все мялись и застенчиво поглядывали на нас.

– Чего они ждут? Скажи, чтобы поскорее резали, а то наш поезд уйдет! – обратился главный врач к станционному сторожу, понимавшему по-бурятски.

– Они, ваше благородие, конфузятся. По-русски, говорят, не умеем резать, а по-бурятски конфузятся.

– Не все ли нам равно! Пусть режут, как хотят, только поскорее.

Буряты встрепенулись. Они прижали к земле ноги и голову овцы, молодой бурят разрезал ножом живой овце верхнюю часть брюха и запустил руку в разрез. Овца забилась, ее ясные, глупые глаза заворочались, мимо руки буряты ползли из живота вздутые белые внутренности. Бурят копался рукою под ребрами, пузыри внутренностей хлюпали от порывистого дыхания овцы, она задергалась сильнее и хрипло заблеяла. Старый бурят с бесстрастным лицом, сидевший на корточках, покосился на нас и сжал рукою узкую, мягкую морду овцы. Молодой бурят сдавил сквозь грудобрюшную преграду сердце овцы, овца в последний раз дернулась, ее ворочавшиеся светлые глаза остановились. Буряты поспешно стали снимать шкуру.

Чуждые, плоские лица были глубоко бесстрастны и равнодушны, женщины смотрели и сосали чубуки, сплевывая наземь. И у меня мелькнула мысль: вот совсем так хунхузы будут вспарывать животы и нам, равнодушно попыхивая трубочками, даже не замечая наших страданий. Я, улыбаясь, сказал это товарищам. Все нервно повели плечами, у всех как будто тоже уж мелькнула эта мысль.

Всего ужаснее казалось именно это глубокое безразличие. В свирепом сладострастии баши-бузук, упивающемся муками, все-таки есть что-то человеческое и понятное. Но эти маленькие, полусонные глаза, равнодушно смотрящие из косых расщелин на твои безмерные муки, – смотрящие и не видящие... Брр!..

Наконец мы прибыли на станцию Маньчжурия. Здесь была пересадка. Наш госпиталь соединили в один эшелон с султановским госпиталем, и дальше мы поехали вместе. В приказе по госпиталю было объявлено, что мы «перешли границу Российской империи и вступили в пределы империи Китайской».

Тянулись все те же сухие степи, то ровные, то холмистые, поросшие рыжею травой. Но на каждой станции высилась серая кирпичная башня с бойницами, рядом с нею длинный сигнальный шест, обвитый соломой; на пригорке – сторожевая вышка на высоких столбах. Эшелоны предупреждались относительно хунхузов. Команде были розданы боевые патроны, на паровозе и на платформах дежурили часовые.

В Маньчжурии нам дали новый маршрут, и теперь мы ехали точно по этому маршруту; поезд стоял на станциях положенное число минут и шел дальше. Мы уже совсем отвыкли от такой аккуратной езды.

Ехали мы теперь вместе с султановским госпиталем.

Один классный вагон занимали мы, врачи и сестры, другой – хозяйственный персонал. Врачи султановского госпиталя рассказывали нам про своего шефа, доктора Султанова. Он всех очаровывал своим остроумием и любезностью, а временами поражал наивно-циничною откровенностью. Сообщил он своим врачам, что на военную службу поступил совсем недавно, по предложению нашего корпусного командира; служба была удобная; он числился младшим врачом полка, – но то и дело получал продолжительные и очень выгодные командировки; исполнить поручение можно было в неделю, командировка же давалась на шесть недель; он получит прогоны, суточные, и живет себе на месте, не ходя на службу; а потом в неделю исполнит поручение. Воротится, несколько дней походит на службу, – и новая командировка. А другие врачи полка, значит, все время работали за него!

Султанов больше сидел в своем купе с племянницей Новицкой, высокой, стройной и молчаливой барышней. Она окружала Султанова восторженным обожанием и уходом, весь госпиталь в ее глазах как будто существовал только для того, чтобы заботиться об удобствах Алексея Леонидовича, чтобы ему вовремя поспело кофе и чтоб ему были к бульону пирожки. Когда

Султанов выходил из купе, он сейчас же завладевал разговором, говорил ленивым, серьезным голосом, насмешливые глаза смеялись, и все вокруг смеялись от его острот и рассказов.

Две другие сестры султановского госпиталя сразу стали центрами, вокруг которых группировались мужчины. Одна из них, Зинаида Аркадьевна, была изящная и стройная барышня лет тридцати, приятельница султановской племянницы. Красиво-тягучим голосом она говорила о Баттиетини, Собинове, о знакомых графах и баронах. Было совершенно непонятно, что понесло ее на войну. Про другую сестру, Веру Николаевну, говорили, что она невеста одного из офицеров нашей дивизии. От султановской компании она держалась в стороне. Была очень хороша, с глазами русалки, с двумя толстыми, близко друг к другу заплетенными косами. Видимо, она привыкла к постоянным ухаживаниям и привыкла смеяться над ухаживателями; в ней чувствовался бесенок. Солдаты ее очень любили, она всех их знала и в дороге ухаживала за заболевшими. Наши сестры совсем ступевались перед блестящими султановскими сестрами и поглядывали на них с скрытою враждою.

На станциях появились китайцы. В синих куртках и штанах, они сидели на корточках перед корзинами и продавали семечки, орехи, китайские печения и лепешки.

– Э, нада, капытан? Съемячка нада?

– Липьёска, пьят копэк десятка! Шибко салатка! – свирепо вопил бронзовый, голый по пояс китаец, выкатывая разбойничьи глаза.

Перед офицерскими вагонами плясали маленькие китайчата, потом прикладывали руку к виску, подражая нашему отданию «чести», кланялись и ждали подачки. Кучка китайцев, оскалив сверкающие зубы, неподвижно и пристально смотрела на румяную Веру Николаевну.

– Шанго (хорошо)? – с гордостью спрашивали мы, указывая на сестру.

– Эге! Шибко шанго!.. Карсиво! – поспешно отвечали китайцы, кивая головами.

Подходила Зинаида Аркадьевна. Своим кокетливым, красиво-тягучим голосом она, смеясь, начинала объяснять китайцу, что хотела бы выйти замуж за их дзянь-дзюня. Китаец вслушивался, долго не мог понять, только вежливо кивал головою и улыбался. Наконец понял.

– Дзянь-дзюнь?.. Дзянь-дзюнь?.. Твоя хочу мадама дзянь-дзюнь?! Не-е, это дело не брыкается!

\* \* \*

На одной станции я был свидетелем короткой, но очень изящной сцены. К вагону с строевыми солдатами ленивою походкою подошел офицер и крикнул:

– Эй, вы, черти! Пошлите ко мне взводного.

– Не черти, а люди! – сурово раздался из глубины вагона спокойный голос.

Стало тихо. Офицер остолбенел.

– Кто это сказал? – грозно крикнул он.

Из сумрака вагона выдвинулся молодой солдат. Приложив руку к околышу, глядя на офицера небоящимися глазами, он ответил медленно и спокойно:

– Виноват, ваше благородие! Я думал, что это солдат ругается, а не ваше благородие!

Офицер слегка покраснел; для поддержания престижа выругался и ушел, притворяясь, что не сконфужен.

\* \* \*

Однажды вечером в наш поезд вошел подполковник пограничной стражи и попросил разрешения проехать в нашем вагоне несколько перегонов. Разумеется, разрешили. В узком купе с поднятыми верхними сиденьями, за маленьким столиком, играли в винт. Кругом стояли и смотрели.

Подполковник подсел и тоже стал смотреть.

– Скажите, пожалуйста, – в Харбин мы приедем вовремя, по маршруту? – спросил его д-р Шанцер.

Подполковник удивленно поднял брови.

– Вовремя?.. Нет! Дня на три, по крайней мере, запоздаете.

– Почему? Со станции Маньчжурия мы едем очень аккуратно.

– Ну, вот скоро сами увидите! Под Харбином и в Харбине стоит тридцать семь эшелонов и не могут ехать дальше. Два пути заняты поездами заместника Алексеева, да еще один – поездом Флуга. Маневрирование поездов совершенно невозможно. Кроме того, заместнику мешают спать свистки и грохот поездов, и их запрещено пропускать мимо. Все и стоит... Что там только делается! Лучше уж не говорить.

Он резко оборвал себя и стал крутить папиросу.

– Что же делается?

Подполковник помолчал и глубоко вздохнул.

– Видел на днях сам, собственными глазами: в маленьком, тесном зале, как сельди в бочке, толкуются офицеры, врачи; истомленные сестры спят на своих чемоданах. А в большой, великолепный зал нового вокзала никого не пускают, потому что генерал-квартирмейстер Флуг совершает там свой послеобеденный моцион! Извольте видеть, заместнику понравился новый вокзал, и он поселил в нем свой штаб, и все приезжие жмутся в маленьком, грязном и вонючем старом вокзале!

Подполковник стал рассказывать. Видимо, у него много накопилось в душе. Он рассказывал о глубоком равнодушии начальства к делу, о царящем повсюду хаосе, о бумаге, которая душит все живое, все, желающее работать. В его словах бурлило негодование и ненавидящая злоба.

– Есть у меня приятель, корнет приморского драгунского полка. Дельный, храбрый офицер, имеет Георгия за действительно лихое дело. Больше месяца пробыл он на разведках, приезжает в Ляоян, обращается в интендантство за ячменем для лошадей. «Без требовательной ведомости мы не можем выдать!» А требовательная ведомость должна быть за подписью командира полка! Он говорит: «Помилуйте, да я уж почти два месяца и полка своего не видел, у меня ни гроша нет, чтоб заплатить вам!» Так и не дали. А через неделю очищают Ляоян, и этот же корнет с своими драгунами жжет громадные запасы ячменя!..

Или под Дашичао: солдаты три дня голодали, от интендантства на все запросы был один ответ: «Нет ничего!» А при отступлении раскрывают магазины и каждому солдату дают нести по ящику с консервами, сахаром, чаем! Озлобление у солдат страшное, ропот непрерывный. Ходят голодные, оборванные... Один мой приятель, ротный командир, глядя на свою роту, заплакал!.. Японцы прямо кричат: «Эй, вы, босьяки! Удирайте!..» Что из всего этого выйдет, прямо подумать страшно. У Куропаткина одна только надежда, – чтоб восстал Китай.

– Китай? Что же это поможет?

– Как что? *Идея будет!*.. Господа, ведь идеи у нас никакой нет в этой войне, вот в чем главный ужас! За что мы деремся, за что льем кровь? Ни я не понимаю, ни вы, ни тем более солдат. Как же при этом можно переносить все то, что солдат переносит?.. А восстанет Китай, – тогда все сразу станет понятно. Объясните, что армия обращается в казачество маньчжурской области, что каждый получит здесь надел, – и солдаты обратятся в львов. Идея появится!.. А теперь что? Полная душевная вялость, целые полки бегут... А мы – мы заранее торжественно объявили, что Маньчжурии мы не домогаемся, что делать нам в ней нечего!.. Влезли в чужую страну, неизвестно для чего, да еще миндальничаем. Раз уж начали подлость, то нужно делать ее вовсю, тогда в подлости будет хоть поэзия. Вот, как англичане: возьмутся за что, – все под ними запищит.

В узком купе одиноко горела свечка на карточном столике и освещала внимательные лица. Взлохмаченные усы подполковника, с торчащими кверху кончиками, сердито топорщились и шевелились. Наш наблюдатель опять коробился от этих громких небоящихся речей и опасно косился по сторонам.

– Кто побеждает в бою? – продолжал подполковник. – Господа, ведь это азбука: побеждают сплоченные между собою люди, зажженные идеей. Идеи у нас нет и не может быть. А правительство с своей стороны сделало все, чтоб уничтожить и сплоченность. Как у нас составлены полки? Выхвачено из разных полков по пяти-шести офицеров, по сотне-другой солдат, и готово, – получилась «боевая единица». Мы, видите ли, хотели перед Европою яичницу сварить в цилиндре: вот, дескать, все корпуса на месте, а здесь сама собой выросла целая армия... А как у нас раздаются здесь ордена! Все направлено к тому, чтоб убить всякое уважение к подвигу, чтоб вызвать к русским орденам полное презрение. Лежат в госпитале раненые офицеры, они прошли страду целого ряда боев. Среди них ходит ординарец наместника (их у него девяносто восемь человек!) и раздает белье. А в петлице у него – Владимир с мечами. Его спрашивают: «Вы за что это Владимира получили, за раздачу белья?»

Когда подполковник ушел, все долго молчали.

– Во всяком случае, характерно! – заметил Шанцер.

– И врал же он, боже ты мой! – с ленивою усмешкою сказал Султанов. – Всего вероятнее, наместник обошел его самого каким-нибудь орденом.

– Что много врал, это несомненно, – согласился Шанцер. – Хотя бы даже уж в этом: если в Харбине задерживаются десятки поездов, как бы мы могли ехать так аккуратно?

Назавтра проснулись мы, – наш поезд стоит. Давно стоит? Уж часа четыре. Стало смешно: неужели так быстро начинает сбываться предсказание пограничника?

Оно сбылось. Опять на каждой станции, на каждом разъезде пошли бесконечные остановки. Не хватало ни кипятку для людей, ни холодной воды для лошадей, негде было купить хлеба. Люди голодали, лошади стояли в душных вагонах не поенные... Когда по маршруту мы должны были быть уже в Харбине, мы еще не доехали до Цицикара.

Говорил я с машинистом нашего поезда. Он объяснил наше запоздание так же, как пограничник: поезда наместника загораживают в Харбине пути, наместник запретил свистеть по ночам паровозам, потому что свистки мешают ему спать. Машинист говорил о наместнике Алексееве тоже со злобою и насмешкою.

– Живет он в новом вокзале, поближе к своему поезду. Поезд его всегда наготове, чтоб в случае чего первым удрать.

Дни тянулись, мы медленно ползли вперед. Вечером поезд остановился на разъезде верст за шестьдесят от Харбина. Но машинист утверждал, что приедем мы в Харбин только послезавтра. Было тихо. Неподвижно покоилась ровная степь, почти пустыня. В небе стоял слегка мутный месяц, воздух сухо серебрился. Над Харбином громоздились темные тучи, поблескивали зарницы.

И тишина, тишина кругом... В поезде спят. Кажется, и сам поезд спит в этом тусклом сумраке, и все, все спит спокойно и равнодушно. И хочется кому-то сказать: как можно спать, когда там тебя ждут так жадно и страстно!

Ночью я несколько раз просыпался. Изредка слышалось сквозь сон напряженное колебание вагона, и опять все затихало. Как будто поезд судорожно корчился, старался прорваться вперед и не мог.

Назавтра в полдень мы были еще за сорок верст от Харбина.

\* \* \*

Наконец приехали в Харбин. Наш главный врач справился у коменданта, сколько времени мы простоим.

– Не больше двух часов! Вы без пересадки едете прямо в Мукден.

А мы собирались кое-что закупить в Харбине, справиться о письмах и телеграммах, съездить в баню... Через два часа нам сказали, что мы поедем около двенадцати часов ночи, потом, – что не раньше шести часов утра. Встретили мы адъютанта из штаба нашего корпуса. Он сообщил, что все пути сильно загромождены эшелонами, и мы выедем не раньше, как послезавтра.

И почти везде в дороге коменданты поступали точно так же, как в Харбине. Решительнейшим и точнейшим образом они определяли самый короткий срок до отхода поезда, а мы после этого срока стояли на месте десятками часов и сутками. Как будто, за невозможностью проявить хоть какой-нибудь порядок на деле, им нравилось ослеплять проезжих строгою, несомневающейся в себе сказкою о том, что все идет, как нужно.

Просторный новый вокзал бледно-зеленого цвета, в стиле модерн, был, действительно, занят заместителем и его штабом. В маленьком, грязном, старом вокзале стояла толчея. Трудно было пробраться сквозь густую толпу офицеров, врачей, инженеров, подрядчиков. Цены на все были бешеные, стол отвратительный. Мы хотели отдать выстирать белье, сходить в баню, – обратиться за справками было не к кому, При любом научном съезде, где собираются всего одна-две тысячи людей, обязательно устраивается справочное бюро, дающее приезжему какие угодно указания и справки. Здесь же, в тыловом центре полумиллионной армии, приезжим предоставлялось наводить справки у станционных сторожей, жандармов и извозчиков.

Поражало отсутствие элементарной заботливости власти об этой массе людей, заброшенных сюда этою же властью. Если не ошибаюсь, даже «офицерские этапы», лишенные самых простых удобств, всегда переполненные, были учреждены уже много позднее. В гостиницах за жалкий чулан платили в сутки по 4–5 рублей, и далеко не всегда можно было раздобыть номер; по рублю, по два платили за право переночевать в коридоре. В Телине находилось главное полевое военно-медицинское управление. Приезжало много врачей, вызванных из запаса «в распоряжение полевого военно-медицинского инспектора». Врачи являлись, подавали рапорт о прибытии, – и девайся, куда знаешь. Приходилось ночевать на полу в госпиталях, между койками больных.

В Харбине мне пришлось беседовать со многими офицерами разного рода оружия. О Куропаткине отзывались хорошо. Он импонировал. Говорили только, что он связан по рукам и по ногам, что у него нет свободы действий. Было непонятно, как сколько-нибудь самостоятельный и сильный человек может позволить связать себя и продолжать руководить делом. О заместителе все отзывались с удивительно единодушным негодованием. Ни от кого я не слышал доброго слова о нем. Среди неслыханно-тяжкой страды русской армии он заботился лишь об одном, – о собственных удобствах. К Куропаткину, по общим отзывам, он питал сильнейшую вражду, во всем ставил ему препятствия, во всем действовал наперекор. Эта вражда сказывалась даже в самых ничтожных мелочах. Куропаткин ввел для лета рубашки и кители цвета хаки, – заместитель преследовал их и требовал, чтоб в Харбине офицеры ходили в белых кителях.

Особенно же все возмущались Штакельбергом. Рассказывали о его знаменитой корове и спарже, о том, как в бою под Вафангоу массу раненых пришлось бросить на поле сражения, потому что Штакельберг загородил своим поездом дорогу санитарным поездом; две роты солдат заняты были в бою тем, что непрерывно поливали брезент, натянутый над генеральским поездом, – в поезде находилась супруга барона Штакельберга, и ей было жарко.

– В конце концов, какие же у нас тут есть талантливые вожди? – спрашивал я офицеров.

– Какие... Вот, Мищенко разве... Да нет, что он! Кавалерист по недоразумению... А вот, вот: Стессель! Говорят, львом держится в Артуре.

Шли слухи, что готовится новый бой. В Харбине стоял тяжелый, чадный разгул; шампанское лилось реками, кокотки делали великолепные дела. Процент выбывавших в бою офицеров был так велик, что каждый ждал почти верной смерти. И в дико-пиршественном размахе они прощались с жизнью.

\* \* \*

Через двое суток мы двинулись дальше на юг.

Кругом тянулись тщательно обработанные поля с каоляном и чумизою. Шла жатва. Везде виднелись синие фигуры работающих китайцев. У деревень на перекрестках дорог серели кумирни-часовенки, издали похожие на улы.

Была вероятность, что нас прямо из вагонов двинут в бой. Офицеры и солдаты становились серьезнее. Все как будто подтянулось, проводить дисциплину стало легче. То грозное и злое, что издали охватывало душу трепетом ужаса, теперь сделалось близким, поэтому менее ужасным, несущим строгое, торжественное настроение.

### III. В Мукдене

Приехали. Конец пути!.. По маршруту мы должны были прибыть в десять утра, но приехали во втором часу дня. Поезд наш поставили на запасный путь, станционное начальство стало торопить с разгрузкой.

Застоявшиеся, исхудалые лошади выходили из вагонов, боязливо ступая на шаткие сходни. Команда копошилась на платформах, скатывая на руках фуры и двуколки. Разгрузались часа три. Мы тем временем пообедали на станции, в тесном, людном и грязном буфетном зале. Невиданно-густые тучи мух шумели в воздухе, мухи сыпались в щи, попадали в рот. На них с веселым щебетаньем охотились ласточки, носившиеся вдоль стен зала.

За оградою перрона наши солдаты складывали на землю мешки с овсом; главный врач стоял около и считал мешки. К нему быстро подошел офицер, ординарец штаба нашей дивизии.

– Здравствуйте, доктор!.. Приехали?

– Приехали. Где нам прикажете стать?

– А вот я вас поведу. Для этого и выехал.

Часам к пяти все было выгружено, налажено, лошади впряжены в повозки, и мы двинулись в путь. Объехали вокзал и повернули вправо. Повсюду проходили пехотные колонны, тяжело гроыхала артиллерия. Вдали синел город, кругом на биваках курились дымки.

Мы проехали версты три.

Навстречу, в сопровождении вестового, скакал смотритель султановского госпиталя.

– Господа, назад!

– Как назад? Что за пустяки! Нам ординарец из штаба сказал, – сюда.

Подъехали наш смотритель и ординарец.

– В чем дело?.. Сюда, сюда, господа, – успокоительно произнес ординарец.

– Мне в штабе старший адъютант сказал, – назад, к вокзалу, – возразил смотритель султановского госпиталя.

– Что за черт! Не может быть!

Ординарец с нашим смотрителем поскакали вперед, в штаб. Наши обозы остановились. Солдаты, не евшие со вчерашнего вечера, угрюмо сидели на краю дороги и курили. Дул сильный, холодный ветер.

Смотритель воротился один.

– Да, говорит: назад, в Мукден, – сообщил он. – Там полевой медицинский инспектор укажет, где стать.

– Может быть, опять придется возвращаться. Подождем тут, – решил главный врач. – А вы съездите к медицинскому инспектору, спросите, – обратился он к помощнику смотрителя.

Тот помчался в город.

– Начинается бестолочь... Что? Я вам не говорил? – зловеще произнес товарищ Селюков, и он как будто даже был рад, что его предсказание сбывается.

Длинный, тощий и близорукий, он сидел на вислоухом коне, сгорбившись и держа в воздухе поводья обеими руками. Смирная животина завидела на повозке охапку сена и потянулась к ней. Селюков испуганно и неумело натянул поводья.

– Тпру-у-у!! – угрожающе протянул он, тараща чрез очки близорукие глаза. Но лошадь все-таки подошла к повозке, отдернула поводья и стала есть.

Шанцер, вечно веселый и оживленный, рассмеялся.

– Смотрю я на вас, Алексей Иванович... Что вы будете делать, когда нам придется уди- рать от японцев? – спросил он Селюкова.

– Черт ее, не слушается почему-то лошадь, – в недоумении сказал Селюков. Потом его губы, обнажая десны, изогнулись в сконфуженную улыбку. – Что буду делать! Как увижу, что близко японцы, – слезу с лошади и побегу, больше ничего.

Солнце садилось, мы всё стояли. Вдали, на железнодорожной ветке, темнел роскошный поезд Куропаткина, по платформе у вагонов расхаживали часовые. Наши солдаты, злые и иззябшие, сидели у дороги и, у кого был, жевали хлеб.

Наконец, помощник смотрителя приехал.

– Медицинский инспектор говорит, что ничего не знает.

– А черти бы их всех взяли! – сердито выругался главный врач. – Пойдем назад к вокзалу и станем там биваком. Что нам, всю ночь здесь в поле мерзнуть?

Обозы двинулись назад. Навстречу нам в широкой коляске ехал с адъютантом начальник нашей дивизии. Прищутив старческие глаза, генерал сквозь очки оглядел команду.

– Здорово, детки! – весело крикнул он.

– Здра... жла... ваш... сди...ство!!! – гаркнула команда.

Коляска, мягко качаясь на рессорах, покатила дальше. Селюков вздохнул.

– «Детки»... Лучше бы позаботился, чтобы деткам не мотаться без толку целый день.

Вдоль прямой дороги, шедшей от вокзала к городу, тянулись серые каменные здания казенного вида. Перед ними, по эту сторону дороги, было большое поле. На утоптаных бороздах валялись сухие стебли каоляна, под развесистыми ветлами чернела вокруг колодца мокрая, развороченная копытами земля. Наш обоз остановился близ колодца. Отпрягали лошадей, солдаты разводили костры и кипятили в котелках воду. Главный врач поехал разузнавать сам, куда нам двигаться или что делать.

Темнело, было холодно и неприятно. Солдаты разбивали палатки. Селюков, иззябший, с красным носом и щеками, неподвижно стоял, засунув руки в рукава шинели.

– Эх, хорошо бы теперь в Москве быть, – вздохнул он. – Напиться бы чайку, поехать на «Евгения Онегина».

Главный врач воротился.

– Завтра мы развертываемся, – объявил он. – Вот за дорогою два каменных барака. Сейчас там стоят госпитали 56 дивизии, завтра они снимаются, а мы становимся на их место.

И он пошел к обозу.

– Что нам здесь делать? Пойдемте, господа, туда, познакомимся с врачами, – предложил Шанцер.

Мы пошли к баракам. В небольшом каменном флигельке сидело за чаем человек восемь врачей. Познакомились. Сообщили им, между прочим, что завтра сменяем их.

У них вытянулись лица.

– Вот так-так!.. А мы только что начали устраиваться, думали, останемся надолго.

– А вы давно здесь?

– Как давно! Всего четыре дня назад приняли бараки.

Высокий и плотный врач, в кожаной куртке с погонами, разочарованно свистнул.

– Нет, господа, позвольте, а мы-то теперь как же? – спросил он. – Вы понимаете, при нас это будет уж пятая смена за месяц!

– Вы, товарищ, разве не этого госпиталя?

Он поднял ладонь и пожал плечами.

– Какое там! Это бы счастье было! Мы, – я и вот трое товарищей, – мы занимаем идеальнейше собачью должность. «Командированные в распоряжение полевого военно-медицинского инспектора». Вот нами и распоряжаются. Работал я в сводном госпитале в Харбине, заведывал палатою в девяносто коек. Вдруг, с месяц назад, получаю от полевого медицинского инспектора Горбачевича предписание, – немедленно ехать в Янтай. Говорит мне: «Возьмите с собою всего одну смену белья, вы едете только на четыре, на пять дней». Поехал, приезжаю в

Мукден, – оказывается, Янтай уж отдан японцам. Оставили здесь, в Мукдене, при этом здании, тоже вот и трех товарищей, – и делаем мы ввосьмером работу, для которой довольно трех-четырёх врачей. Госпитали каждую неделю сменяются, а мы остаемся; так что, можно сказать, прикомандированы к этому зданию, – засмеялся он.

– Но что же вы, заявляли о вашем положении?

– Конечно, заявляли. И инспектору госпиталей, и Горбачевичу. «Вы здесь нужны, подождите!» А у меня одна смена белья; вот кожаная куртка, и даже шинели нет: месяц назад какие жары стояли! А теперь по ночам мороз! Просился у Горбачевича хоть съездить в Харбин за своими вещами, напоминал ему, что из-за него же сижу здесь раздетый. «Нет, нет, нельзя! Вы здесь нужны!» Заставил бы я его самого пощеголять в одной куртке!

\* \* \*

Ночь мы промерзли в палатках. Дул сильный ветер, из-под полотнищ несло холодом и пылью. Утром напились чаю и пошли к баракам.

Возле барачков уж расхаживали, в сопровождении главных врачей, два генерала; один, военный, был начальник санитарной части Ф. Ф. Трепов, другой генерал, врач, – полевой военно-медицинский инспектор Горбачевич.

– Чтоб сегодня же оба госпиталя были сданы, слышите? – властно и настойчиво сказал военный генерал.

– Слушаю-с, ваше превосходительство!

Я вошел в барак. В нем все стояло вверх дном. Госпитальные солдаты увязывали вещи в тюки и выносили их к повозкам, от бивака подъезжал наш обоз.

– А вы теперь куда? – спросил я врачей, которых мы сменяли.

– Где-то за городом, в трех верстах, приказано стать в фанзах.

Огромный каменный барак с большими окнами был густо уставлен деревянными койками, и на всех лежали больные солдаты. И вот при таком-то положении дела происходила смена. И какая смена! Смена *всего*, кроме стен, коек и... больных! С больных снимали белье, из-под них вытаскивали матрацы; сняли со стен рукомыльники, забрали полотенца, всю посуду, ложки. Мы одновременно доставали свои мешки для матрацев, но набить их было нечем. Послали помощника смотрителя купить чумизной соломы, а больные остались пока лежать на голых досках. Обед для больных варился, – этот обед мы *купили* у уходящего госпиталя.

Вошел один из врачей, «прикомандированных к зданию», и озабоченно сказал:

– Господа, вы торопите с обедом, к часу эвакуируемые больные должны быть на вокзале.

– Скажите, в чем тут вообще будет заключаться наше дело?

– Видите, с позиций и из окрестных частей сюда направляют больных и раненых, вы их осматриваете. Очень легких, которые выздоровеют в один-два дня, оставляете, а остальных эвакуируете на санитарные поезда вот с такими билетиками. Тут имя, звание больного, диагноз... Да, господа, самое важное! – спохватился он, и его глаза юмористически засмеялись. – Предупреждаю вас, начальство терпеть не может, когда врачи ставят диагноз «легкомысленно». По своему легкомыслию вы, наверно, большинству больных будете ставить диагнозы «дизентерия» и «брюшной тиф». Имейте в виду, что «санитарное состояние армии великолепно», что дизентерии у нас совсем нет, а есть «энтероколит», брюшной тиф возможен, как исключение, а вообще все – «инфлуэнца».

– Хорошая эта болезнь – инфлуэнца, – весело засмеялся Шанцер. – Памятник бы нужно поставить тому, кто ее изобрел!

– Спасительная болезнь... Вначале совестно было перед врачами санитарных поездов; ну, потом мы им объяснили, чтобы они всерьез наших диагнозов не принимали, что брюшной тиф мы распознать умеем, а только...

Пришли другие прикомандированные врачи. Было половина первого.

– Что же вы, господа, не собираете больных для эвакуации? К часу они обязательно должны быть на вокзале.

– Запоздали с обедом. Когда поезд уходит?

– Уходит-то он в шесть вечера, а только Трепов сердится, если опоздают хоть на четверть часа... Скорей, скорей, ребята, кончай обед! Кто пешком на вокзал назначен, собирайся к выходу!

Больные жадно доедали обед, а врач усиленно торопил их. Наши солдаты выносили на носилках слабых больных.

Наконец, эвакуируемая партия была отправлена. Привезли солому, начали набивать матрасы. В двери постоянно ходили, окна плохо закрывались; по огромной палате носился холодный сквозняк. На койках без матрацев лежали худые, изможденные солдаты и кутались в шинели.

Из угла с злобною, сосредоточенною ненавистью на меня смотрели из-под шинели черные, блестящие глаза. Я подошел. На койке у стены лежал солдат с черною бородою и глубоко ввалившимися щеками.

– Тебе нужно что-нибудь? – спросил я.

– Час целый прошу воды попить! – ожесточенно ответил он.

Я сказал проходившей сестре милосердия. Она развела руками.

– Он уже давно просит. Я и главному врачу говорила, и смотрителю. Сырой воды нельзя давать, – кругом дизентерия, а кипяченой нету. В кухне были вмазаны котлы, но они принадлежали тому госпиталю, он их вынул и увез. А у нас еще не купили.

В приемную прибывали все новые партии больных. Солдаты были изможденные, оборванные, во вшах; некоторые заявляли, что не ели несколько дней. Шла непрерывная толчея, некогда и негде было присесть.

Пообедал я на вокзале. Воротился, прохожу через приемную мимо перевязочной. Там лежит на носилках охающий солдат-артиллерист. Одна нога в сапоге, другая – в шерстяном чулке, напитанном черной кровью; разрезанный сапог лежит рядом.

– Ваше благородие, явите милость, перевяжите!.. Полчаса здесь лежу.

– А что с тобой?

– Ногу переехало зарядным ящиком, как раз на камне.

Вошел наш старший ординатор Гречихин с сестрою милосердия, которая несла перевязочные материалы. Он был невысокий и полный, с медленною, добродушною улыбкою, и военная тужурка странно сидела на его сутулой фигуре земского врача.

– Вот, придется пока хоть так перевязать, – вполголоса обратился он ко мне, беспомощно пожав плечами. – Обмыть нечем: аптекарь не может приготовить раствора сулемы, – воды нет кипяченой... Черт знает, что такое!..

Я вышел. Навстречу мне шли два прикомандированных врача.

– Сегодня вы дежурите? – спросил меня один.

– Я.

Он, подняв брови, с улыбкою оглядел меня и покачал головою.

– Ну, смотрите! Налетите на Трепова, может выйти неприятность. Как же это вы без шашки?

Что такое? Без шашки? Ребяческим шутовством пахнуло от вопроса о какой-то шашке среди всей этой бестолочи и неурядицы.

– А как же! Вы находитесь при исполнении обязанностей, должны быть при шашке.

– Ну, нет, он теперь этого уж не требует, – примирительно заметил другой. – Понял, что врачу шашка мешает при перевязках.

– Не знаю... Меня он пригрозил посадить под арест за то, что я был без шашки.

А кругом шло все то же. Приходили сестры, заявляли, что нет мыла, нет подкладных суден для слабых больных.

– Так скажите же смотрителю.

– Говорили несколько раз. Но ведь вы знаете, какой он. «Спросите у аптекаря, а если у него нет, – у каптенармуса». Аптекарь говорит, – у него нет, каптенармус – тоже.

Отыскал я смотрителя. Он стоял у входа в барак с главным врачом. Главный врач только что воротился откуда-то и с оживленным, довольным лицом говорил смотрителю:

– Сейчас узнал, – справочная цена на овес – 1 р. 85 к.

Увидев меня, главный врач замолчал. Но мы все давно уже знали его историю с овсом. По дороге, в Сибири, он купил около тысячи пудов овса по сорок пять копеек, привез их в своем эшелоне сюда и теперь собирается пометить этот овес купленным для госпиталя здесь, в Мукдене. Таким образом он сразу наживал больше тысячи рублей.

Я сказал смотрителю о мыле и об остальном.

– Я не знаю, спросите у аптекаря, – ответил он равнодушно и даже как будто удивляясь.

– У аптекаря нету, это должно быть у вас.

– Нет, у меня нету.

– Слушайте, Аркадий Николаевич, я не раз убеждался, – аптекарь прекрасно знает все, что у него есть, а вы о своем ничего не знаете.

Смотритель вспыхнул и заволновался.

– Может быть!.. Но, господа, я не могу. Откровенно сознаюсь, – не могу и не знаю!

– Как же это узнать?

– Нужно пересмотреть все укладочные книжки, найти, в какой повозке что лежит...

Идите, посмотрите, если угодно!

Я взглянул на главного врача. Он притворялся, что не слышит нашего разговора.

– Григорий Яковлевич! Скажите, пожалуйста, чье это дело? – обратился я к нему.

Главный врач забежал глазами.

– В чем дело?.. Конечно, у врача своей работы много. Вы, Аркадий Николаевич, пойдите там, распорядитесь.

Вечерело. Сестры, в белых фартуках с красными крестами, раздавали больным чай. Они заботливо подкладывали им хлеба, мягко и любовно поили слабых. И казалось, эти славные девушки – совсем не те скучные, неинтересные сестры, какими они были в дороге.

– Викентий Викентьевич, вы одного сейчас черкеса приняли? – спросила меня сестра.

– Одного.

– А с ним лег его товарищ и не уходит.

На койке лежали рядом два дагестанца. Один из них, втянув голову в плечи, черными, горящими глазами смотрел на меня.

– Ты болен? – спросил я его.

– Нэ болэн! – вызывающе ответил он, сверкнув белками.

– Тогда тебе нельзя тут лежать, уходи.

– Нэ пайду!

Я пожал плечами.

– Чего это он? Ну, пускай пока полежит... Ложись на эту койку, пока она не занята, а тут ты мешаешь своему товарищу.

Сестра подала ему кружку с чаем и большой ломоть белого хлеба. Дагестанец совершенно растерялся и неуверенно протянул руку. Он жадно выпил чай, до последней крошки съел хлеб. Потом вдруг встал и низко поклонился сестре.

– Спасибо тэбе, сестрыца! Два дня ничево нэ ел!

Накинул на плечи свой алый башлык и ушел. Кончился день. В огромном темном бараке тускло светилось несколько фонарей, от плохо запиравшихся огромных окон тянуло холодным

сквозняком. Больные солдаты спали, закутавшись в шинели. В углу барака, где лежали больные офицеры, горели у изголовья свечки; одни офицеры лежа читали, другие разговаривали и играли в карты.

В боковой комнате наши пили чай. Я сказал главному врачу, что необходимо исправить в бараке незакрывающиеся окна. Он засмеялся.

– А вы думаете, это так легко сделать? Эх, не военный вы человек! У нас нет сумм на ремонт помещений, нам полагаются шатры. Можно было бы взять из экономических сумм, но их у нас нет, госпиталь только что сформирован. Надо подавать рапорт по начальству о разрешении ассигновки...

И он стал рассказывать о волоките, с какою связано всякое требование денег, о постоянно висящей грозе «начетов», сообщал прямо невероятные по своей нелепости случаи, но здесь всему приходилось верить...

В одиннадцатом часу ночи в барак зашел командир нашего корпуса. Весь вечер он просидел в султановском госпитале, который развернулся в соседнем бараке. Видимо, корпусный считал нужным для приличия заглянуть кстати и в наш барак.

Генерал прошелся по бараку, останавливался перед неспящими больными и равнодушно спрашивал: «Чем болен?» Главный врач и смотритель почтительно следовали за ним. Уходя, генерал сказал:

– Очень холодно в бараке и сквозняк.

– Ни двери, ни окна плотно не закрываются, ваше высокопревосходительство! – ответил главный врач.

– Велите исправить.

– Слушаюсь, ваше высокопревосходительство!

Когда генерал ушел, главный врач рассмеялся.

– А если начет сделают, он, что ли, будет за меня платить?

\* \* \*

Следующие дни была все та же неурядица. Дизентерики ходили под себя, пачкали матрасы, а приспособлений для стирки не было. Шагов за пятьдесят от барака стояло четыре отхожих места, они обслуживали все окрестные здания, в том числе и наше. (До Лаоянского боя оно служило, кажется, казармой для пограничников.) Внутри отхожих мест была грязь, стульчаки сплошь были загажены кровавою слизью дизентериков, а сюда ходили и больные, и здоровые. Никто этих отхожих мест не чистил: они обслуживали все окружающие здания, и заведующие никак не могли столковаться, кто их обязан чистить.

Прибывали новые больные, прежних мы эвакуировали на санитарные поезда. Много являлось офицеров; жалобы большинства их были странны и неопределенны, объективных симптомов установить не удавалось. В бараке они держались весело, и никто бы не подумал, что это больные. И все настойчиво просили эвакуировать их в Харбин. Ходили слухи, что на днях предстоит новый бой, и становилось понятным, чем именно больны эти воины. И еще более это становилось понятным, когда они много и скромно начинали рассказывать нам и друг другу о своих подвигах в минувших боях.

А рядом – совсем противоположное. Пришел один сотник уссуриец молодой, загорелый красавец с черными усиками. У него была сильная дизентерия, нужно было его эвакуировать.

– Ни за что!.. Нет, доктор, вы уж, пожалуйста, как-нибудь подправьте меня здесь.

– Здесь неудобно, – ни диеты нельзя провести подходящей, и помещение неважное.

– Ну, уж я как-нибудь. А то скоро бой, товарищи идут в дело, а я вдруг уеду... Нет, лучше я уж здесь.

Был вечер. В барак быстро вошел сухощавый генерал с рыжею бородкою. Дежурил доктор Селюков. Пуча близорукие глаза в очках, он медленно расхаживал по бараку своими журавлиными ногами.

– Сколько у вас больных? – сухо и резко спросил его генерал.

– Сейчас около девяноста.

– Скажите, вы не знаете, что раз я здесь без фуражки, то вы не смеее быть в ней?

– Не знал... Я из запаса.

– Ах, вы из запаса! Вот я засажу вас на неделю под арест, тогда не будете из запаса! Вы знаете, кто я?

– Нет.

– Я инспектор госпиталей. Где ваш главный врач?

– Он уехал в город.

– Ну, так старший ординатор, что ли... Кто тут его заменяет?

Сестры побежали за Гречихиным и шепнули ему, чтоб он снял фуражку. К генералу подлетел один из прикомандированных и, вытянувшись в струнку, отрапортовал:

– Ваше превосходительство! В 38 полевом подвижном госпитале состоит 98 больных, из них 14 офицеров, 84 нижних чина!..

Генерал удовлетворенно кивнул головою и обратился к подходящему Гречихину:

– Что у вас тут за безобразие! Больные лежат в шапках, сами врачи в шапках разгуливают... Не видите, что тут иконы?

Гречихин огляделся и кротко возразил:

– Икон нет.

– Как нет? – возмутился генерал. – Почему нет? Что это за беспорядок!.. И вы тоже, подполковник! – обратился он к одному из больных офицеров. – Вы должны бы показывать пример солдатам, а сами тоже лежите в фуражке!.. Почему ружья и мешки солдат при них? – снова накинулся он на Гречихина.

– Нет цейхгауза.

– Это беспорядок!.. Вещи везде навалены, винтовки, – не госпиталь, а толкучка какая-то!

Генерал шел дальше, сопровождаемый врачами, и гневные, бестолково-распекающие речи сыпались непрерывно.

При выходе он встретился с входившим к нам корпусным командиром.

– Завтра я беру у вас оба мои госпиталя, – сообщил корпусный, здороваясь с ним.

– Как же, ваше высокопревосходительство, мы здесь останемся без них? – совсем новым, скромным и мягким голосом возразил инспектор: он был только генерал-майор, а корпусный – полный генерал.

– Я уж не знаю. Но полевые госпитали должны быть с нами, а мы завтра уходим на позиции.

После долгих переговоров корпусный согласился дать инспектору подвижные госпитали другой своей дивизии, которые должны были приехать в Мукден завтра.

Генералы ушли. Мы стояли возмущенные: как все было бестолково и нелепо, как все направлялось не туда, куда нужно! В важном, серьезном деле помощи больным как будто намеренно отбрасывалась суть дела, и все внимание обращалось на выдержанность и стильность бутафорской обстановки... Прикомандированные, глядя на нас, посмеивались.

– Странные вы люди! Ведь на то и начальство, чтоб кричать. Что же ему без этого делать, в чем другом проявлять свою деятельность?

– В чем? Чтоб больные не мерзли под сквозняками, чтобы не было того, что позавчера творилось здесь целый день.

– Вы слышали? Завтра будет то же самое! – вздохнул прикомандированный.

Пришли два врача из султановского госпиталя. Один был оконфужен и зол, другой посмеивался. Оказывается, и там инспектор распек всех, и там пригрозил дежурному врачу арестом. Дежурный стал ему рапортовать: «Имею честь сообщить вашему превосходительству...» – Что?! Какое вы мне имеете право сообщать? Вы мне должны рапортовать, а не «сообщать»! Я вас на неделю под арест!

Налетевший на наши госпитали инспектор госпиталей был генерал-майор Езерский. До войны он служил при московском интендантстве, а раньше был... иркутским полицмейстером! В той мрачной, трагической юмористике, которою насквозь была пропитана минувшая война, черным бриллиантом сиял состав высшего медицинского управления армии. Мне много еще придется говорить о нем, теперь же отмечу только: главное руководство всем санитарным делом в нашей огромной армии принадлежало бывшему губернатору, – человеку, совершенно невежественному в медицине и на редкость нераспорядительному; инспектором госпиталей был бывший полицмейстер, – и что удивительного, если врачебные учреждения он инспектировал так же, как, вероятно, раньше «инспектировал» улицы и трактиры города Иркутска?

Назавтра утром сижу у себя, слышу снаружи высокомерный голос:

– Послушайте, вы! Передайте вашему смотрителю, чтобы перед госпиталем были вывешены флаги. Сегодня приезжает наместник.

Мимо окон суетливо промелькнуло генеральское пальто с красными отворотами. Я высунулся из окна: к соседнему бараку взволнованно шел медицинский инспектор Горбачевич. Селюков стоял у крыльца и растерянно оглядывался.

– Это он к вам так обращался? – удивился я.

– Ко мне... Черт ее, так был поражен, даже не нашелся, что ответить.

Селюков хмуро пошел к приемной.

Вокруг барака закипела работа. Солдаты мели улицу перед зданием, посыпали ее песком, у подъезда водружали шест с флагами красного креста и национальным. Смотритель находился здесь, он был теперь деятелен, энергичен и отлично знал, где что достать.

В комнату вошел Селюков и сел на свою кровать.

– Ну, и начальства же тут, – как нерезаных собак! Чуть выйдешь, сейчас налетишь на кого-нибудь... И не различишь их. Вхожу в приемную, вижу, какой-то ферт стоит в красных лампасах, я было хотел к нему с рапортом, смотрю, он передо мной вытягивается, честь отдает... Казак, что ли, какой-то...

Он тяжело вздохнул.

– Нет, я лучше уж согласен мерзнуть в палатках. А тут, видно, начальства больше, чем нас.

Вошел Шанцер, немножко сконфуженный, задумчивый. Он был сегодня дежурным.

– Не знаю, как поступить... Я велел убрать с коек два матраца, совсем загажены, на них лежали дизентерики. Пришел главный врач: «Оставить, не сменять! Других матрацев нет». Я ему говорю: все равно, пусть новый больной уж лучше ляжет на доски; придет, может быть, просто истомленный голодом и усталостью, а у нас заразится дизентерией. Главный врач отвернулся от меня, обращается к палатным служителям: «Не смей матрацев сменять, поняли?» – и ушел... Боится, – придет наместник, вдруг увидит, что двое больных лежат без матрацев.

А вокруг барака и в бараке все шла усиленная чистка. Мерзко было в душе. Вышел я наружу, пошел в поле. Вдали серел наш барак, – чистенький, принарядившийся, с развевающимися флагами; а внутри – дрожащие под сквозняком больные, загаженные, пропитанные заразою матрацы... Скверная, нарумяненная мешанка в нарядном платье и в грязном, вонючем белье.

Второй день у нас не было эвакуации, так как санитарные поезда не ходили. Наместник ехал из Харбина, как царь, больше, чем как царь; все движение на железной дороге было для него остановлено; стояли санитарные поезда с больными, стояли поезда с войсками и снаря-

дами, спешившие на юг к предстоявшему бою. Больные прибывали к нам без конца; заняты были все койки, все носилки, не хватало и носилок; больных стали класть на пол.

Вечером привезли с позиции 15 раненых дагестанцев. Это были первые раненые, которых мы принимали. В бурках и алых башлыках, они сидели и лежали с смотрящими исподлобья, горящими черными глазами. И среди наполнявших приемную больных солдат, – серых, скучных и унылых, – ярким, тянущим к себе пятном выделялась эта кучка окровавленных людей, обвеванных воздухом боя и опасности.

Привезли и их офицера, сотника, раненного в руку. Оживленный, с нервно блестящими глазами сотник рассказывал, как они приняли японцев за своих, подъехали близко и попали под пулеметы, потеряли семнадцать людей и тридцать лошадей. «Но мы им за это тоже лихо отплатили!» – прибавил он с гордою усмешкой.

Все толпились вокруг и расспрашивали, – врачи, сестры, больные офицеры. Расспрашивали любовно, с жадным интересом, и опять все кругом, все эти *больные* казались такими тусклыми рядом с ним, окруженным ореолом борьбы и опасности. И вдруг мне стал понятен красавец уссуриец, так упорно не хотевший уезжать с дизентерией.

Пришел от наместника адъютант справиться о здоровье раненого. Пришли из госпиталя Красного Креста и усиленно стали предлагать офицеру перейти к ним. Офицер согласился, и его унесли от нас в Красный Крест, который все время брезгливо отказывал нам в приеме *больных*.

Больные... В армии больные – это парии. Так же они несли тяжелую службу, так же пострадали, – может быть, гораздо тяжелее и непоправимее, чем иной раненый. Но все относятся к ним пренебрежительно и даже как будто свысока: они такие неинтересные, закулисные, так мало подходят к ярким декорациям войны. Когда госпиталь полон ранеными, высшее начальство очень усердно посещает его; когда в госпитале больные, оно почти совсем не заглядывает. Санитарные поезда, принадлежащие не военному ведомству, всеми силами отбояриваются от больных; нередко бывали случаи, стоит такой поезд неделю, другую и все ждет раненых; раненых нет, и он стоит, занимая путь; а принять больных, хотя бы даже и незаразных, упорно отказывается.

\* \* \*

Рядом с нами, в соседнем бараке, работал султановский госпиталь. Старшею сестрою Султанов назначил свою племянницу, Новицкую. Врачам он сказал:

– Вы, господа, Аглаю Алексеевну не назначайте на дежурство. Пусть дежурят три младшие сестры.

Работы сестрам было очень много; с утра до вечера они возились с больными. Новицкая лишь изредка появлялась в бараке: изящная, хрупкая, она безучастно проходила по палатам и возвращалась назад в свою комнату.

Зинаида Аркадьевна сначала очень рьяно взялась за дело. Щеголяя красным крестом и белизною своего фартука, она обходила больных, поила их чаем, оправляла подушки. Но скоро остыла. Как-то вечером зашел я к ним в барак. Зинаида Аркадьевна сидела на табуретке у стола, уронив руки на колени, и красиво-усталым голосом говорила:

– Измаялась я!.. Весь-то день на ногах!.. А температура у меня повышенная, сейчас мерила – тридцать восемь. Боюсь, не тиф ли начинается. А я сегодня дежурная. Старший ординатор решительно запретил мне дежурить, такой строгий! Придется за меня подежурить беденькой Настасьей Петровне.

Настасья Петровна была четвертая сестра их госпиталя, смиренная и простая девушка, взятая из общины Красного Креста. Она осталась дежурить, а Зинаида Аркадьевна поехала с Султановым и Новицкою на ужин к корпусному командиру.

Красавица-русалка Вера Николаевна работала молодцом. Вся работа по госпиталю легла на нее и смирную Настасью Петровну. Больные офицеры удивлялись, почему в этом госпитале всего две сестры. Вскоре Вера Николаевна захворала, несколько дней перемогалась, но, наконец, слегла с температурой в 40. Осталась работать одна Настасья Петровна. Она было запротестовала и заявила старшему ординатору, что не в силах одна справиться. Старший ординатор был тот самый д-р Васильев, который еще в России чуть не засадил под арест офицера-смотрителя и который на днях так «строго» запретил дежурить Зинаиде Аркадьевне. На Настасью Петровну он раскричался, как на горничную, и сказал ей, что, если она хочет бить баклуши, то незачем было сюда ехать.

В нашем госпитале к четырем штатным сестрам прибавилось еще две сверхштатных. Одна была жена офицера нашей дивизии. Она села в наш эшелон в Харбине, все время плакала, была полна горем и думала о своем муже. Другая работала в одном из тыловых госпиталей и перевелась к нам, узнав, что мы идем на передовые позиции. Ее тянуло побывать под огнем, для этого она отказалась от жалованья, перешла в сверхштатные сестры, хлопотала долго и настойчиво, пока не добилась своего. Была она широкоплечая девушка лет двадцати пяти, стриженная, с низким голосом, с большим мужским шагом. Когда она шла, серая юбка некрасиво и чуждо трепалась вокруг ее сильных, широко шагающих ног.

\* \* \*

Из штаба нашего корпуса пришел приказ: обоим госпиталям немедленно свернуться и завтра утром идти в деревню Сахотаза, где ждать дальнейших приказаний. А как же быть с больными, на кого их бросить? На смену нам должны были прийти госпитали другой дивизии нашего корпуса, но поезд заместника остановил на железной дороге все движение, и было неизвестно, когда они придут. А нам приказано завтра уходить!

Опять все в бараке стало вверх дном. Снимали умывальники, упаковывали аптеку, собирались выламывать в кухне котлы.

– Позвольте, как же это? – удивился Гречихин. – Мы не можем бросить больных на произвол судьбы.

– Я должен исполнить приказание своего непосредственного начальства, – возразил главный врач, глядя в сторону.

– Обязательно! Какой тут даже может быть разговор! – пылко вмешался смотритель. – Мы приданы к дивизии, все учреждения дивизии уже ушли. Как мы смеем не исполнить приказания корпусного командира? Он наш главный начальник.

– А больных так прямо и бросить?

– Мы за это не отвечаем. Это дело здешнего начальства. У нас вот приказ, и в нем ясно сказано, что завтра утром мы должны выступить.

– Ну, как бы там ни было, а мы больных здесь не бросим, – заявили мы.

Главный врач долго колебался, но, наконец, решил остаться и ждать прихода госпиталей; к тому же Езерский решительно заявил, что не выпустит нас, пока нас кто-нибудь не сменит.

Возникал вопрос: для чего опять пойдет вся эта ломка, выламывание котлов, вытаскивание матрацев из-под больных? Раз наш корпус может обойтись двумя госпиталями вместо четырех, то разве не проще нам остаться здесь, а прибывающим госпиталям прямо идти с корпусом на юг? Но все понимали, что этого сделать невозможно: в соседнем госпитале был доктор Султанов, была сестра Новицкая; с ними наш корпусный командир вовсе не желал расставаться; пусть уж лучше больная «святая скотинка» поваляется сутки на голых досках, не пивши, без врачебной помощи.

Но вот чего совершенно было невозможно понять: уже в течение месяца Мукден был центром всей нашей армии; госпиталями и врачами армия была снабжена даже в чрезмерном

изобилии; и тем не менее санитарное начальство никак не умело или не хотело устроить в Мукдене постоянного госпиталя; оно довольствовалось тем, что хватало за полы проезжие госпитали и водворяло их в свои бараки впредь до случайного появления в его кругозоре новых госпиталей. Неужели все это нельзя было устроить иначе?

Через двое суток пришли в Мукден ожидаемые госпитали, мы сдали им бараки, а сами двинулись на юг. На душе было странно и смутно. Перед нами работала огромная, сложная машина; в ней открылась щелочка; мы заглянули в нее и увидели: колесики, валики, шестерни, все деятельно и сердито суетится, но друг за друга не цепляется, а вертится без толку и без цели. Что это – случайная порча механизма в том месте, где мы в него заглянули, или... или и вся эта громоздкая машина шумит и стучит только для видимости, а на работу неспособна?

На юге тяжелыми раскатами непрерывно грохотали пушки. Начинаясь бой на Шахе.

## IV. Бой на Шахе

Из Мукдена мы выступили рано утром походным порядком. Вечером шел дождь, дороги блестели легкою, скользкою грязью, солнце светило сквозь прозрачно-мутное небо. Была теплынь и тишина. Далеко на юге глухо и непрерывно перекатывался гром пушек.

Мы ехали верхом, команда шла пешком. Скрипели зеленые фуры и двуколки. В неуклюжей четырехконной лазаретной фуре белели апостольники и фартуки сестер. Стриженная сверхштатная сестра ехала не с сестрами, а также верхом. Она была одета по-мужски, в серых брюках и высоких сапогах, в барашковой шапке. В юбке она производила отвратительное впечатление, – в мужском костюме выглядела прелестным мальчиком; теперь были хороши и ее широкие плечи, и большой мужской шаг. Верхом она ездила прекрасно. Солдаты прозвали ее «сестра-мальчик».

Главный врач спросил встречного казака, как проехать в деревню Сахотаза, тот показал. Мы добрались до реки Хуньхе, перешли через мост, пошли влево. Было странно: по плану наша деревня лежала на юго-запад от Мукдена, а мы шли на юго-восток. Сказали мы это главному врачу, стали убеждать его взять китайца-проводника. Упрямый, самоуверенный и скупой, Давыдов ответил, что доведет нас сам лучше всякого китайца. Прошли мы три версты по берегу реки на восток; наконец Давыдов и сам сообразил, что идет не туда, и по другому мосту перешел через реку обратно.

Всем уж стало ясно, что заехали мы черт знает куда. Главный врач величественно и угрюмо сидел на своем коне, отрывисто отдавал приказания и ни с кем не разговаривал. Солдаты вяло тащили ноги по грязи и враждебно посмеивались. Вдали снова показался мост, по которому мы два часа назад перешли на ту сторону.

– Теперь как, ваше благородие, опять на этот мост своротим? – иронически спрашивали нас солдаты.

Главный врач подумал над планом и решительно повел нас на запад.

То и дело происходили остановки. Несъезженные лошади рвались в стороны, опрокидывали повозки; в одной фуре переломилось дышло, в другой сломался валец. Останавливались, чинили.

А на юге непрерывно все грохотали пушки, как будто вдали вяло и лениво перекатывался глухой гром; странно было думать, что там теперь ад и смерть. На душе щемило, было одиноко и стыдно; там кипит бой; валяются раненые, там такая в нас нужда, а мы вяло и без толку кружимся здесь по полям.

Посмотрел я на свой браслет-компас, – мы шли на северо-запад. Все знали, что идут не туда, куда нужно, и все-таки должны были идти, потому что упрямый старик не хотел показать, что видит свою неправоту.

К вечеру вдали показались очертания китайского города, изогнутые крыши башен и кумирен. Влево виднелся ряд казенных зданий, белели дымки поездов. Среди солдат раздался сдержанный враждебный смех: это был Мукден!.. После целого дня пути мы воротились опять к нашим каменным баракам.

Главный врач обогнул их и остановился на ночевку в подгородной китайской деревне.

Солдаты разбивали палатки, жгли костры из каоляна и кипятили в котелках воду. Мы поместились в просторной и чистой каменной фанзе. Вежливо улыбающийся хозяин-китаец в шелковой юбке водил нас по своей усадьбе, показывал хозяйство. Усадьба была обнесена высоким глиняным забором и обсажена развесистыми тополями; желтели скирды каоляна, чумизы и риса, на гладком току шла молотьба. Хозяин рассказывал, что в Мукдене у него есть лавка, что свою семью – жену и дочерей – он увез туда: здесь они в постоянной опасности от проходящих солдат и казаков...

На створках дверей пестрели две ярко раскрашенные фигуры в фантастических одеждах, с косыми глазами. Тянулась длинная вертикальная полоска с китайскими иероглифами. Я спросил, что на ней написано. Хозяин ответил:

– «Хорошо говорить».

«Хорошо говорить»... Надпись на входных дверях с дверными богами. Было странно, и, глядя на тихо-вежливого хозяина, становилось понятно.

Мы поднялись с зарею. На востоке тянулись мутно-красные полосы, деревья туманились. Вдали уж грохотали пушки. Солдаты с озябшими лицами угрюмо запрягали лошадей: был мороз, они под холодными шинелями ночевали в палатках и всю ночь бегали, чтобы согреться.

\* \* \*

Главный врач встретил знакомого офицера, расспросил его насчет пути и опять повел нас сам, не беря проводника. Опять мы сбивались с дороги, ехали бог весть куда. Опять ломались дышла, и несъезженные лошади опрокидывали возы. Подходя к Сахотазе, мы нагнали наш дивизионный обоз. Начальник обоза показал нам новый приказ, по которому мы должны были идти на станцию Суятунь.

Двинулись разыскивать станцию. Переехали по понтонному мосту реку, проезжали деревни, переходили вброд вздувшиеся от дождя речки. Солдаты, по пояс в воде, помогали лошадям вытаскивать увязшие возы.

Потянулись поля. На жнивьях по обе стороны темнели густые копны каоляна и чумизы. Я ехал верхом позади обоза. И видно было, как от повозок отбегали в поле солдаты, хватали снопы и бежали назад к повозкам. И еще бежали, и еще, на глазах у всех. Меня нагнал главный врач. Я угрюмо спросил его:

– Скажите, пожалуйста, это делается с вашего разрешения?

Он как будто не понял.

– То есть, что именно?

– Вот это таскание снопов с китайских полей.

– Ишь, подлецы! – равнодушно возмутился Давыдов и лениво сказал фельдфебелю: – Нежданов, скажи им, чтоб перестали!.. Вы, пожалуйста, Викентий Викентьевич, следите, чтоб этого мародерства не было, – обратился он ко мне тоном плохого актера.

Впереди все выбегали в поле солдаты и хватали снопы. Главный врач тихую рысцою поехал прочь.

Воротился посланный вперед фельдфебель.

– Что раньше забрали, то был комплект, а это уж сверх комплекта! – улыбаясь, объяснил он запрещение главного врача. Наверху каждого воза светлело по кучке золотистых снопов чумизы...

К вечеру мы пришли к станции Суятунь и стали биваком по восточную сторону от полотна. Пушки гремели теперь близко, слышен был свист снарядов. На север проходили санитарные поезда. В сумерках на юге замелькали вдали огоньки рвавшихся шрапнелей. С жутким, поднимающим чувством мы вглядывались в вспыхивавшие огоньки и думали: вот, теперь начинается настоящее...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.